

В а с и л и й А к с е н о в

В ПОИСКАХ
**ГРУСТНОГО
БЭБИ**



Василий Павлович Аксенов

В поисках грустного бэби

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=138867

Аннотация

Повесть «В поисках грустного бэби» – увлекательное путешествие русского автора по Америке, в котором, как всегда у Аксенова, много юмора, интересных и точных наблюдений. И как всегда у Аксенова, это еще и книга о России.

Содержание

Глава первая	4
Глава вторая	15
Глава третья	27
Глава четвертая	44
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Василий Павлович Аксенов

В поисках грустного бэби

Глава первая

– Неужели вы всерьез собираетесь жить в Америке? – спросил Клаус Габриель фон Дидерхофен.

– Почему бы нет? – сказал я.

Он пожал плечами.

– Не любит Америку, – подмигнул Серджо Бугаретти. – И знаете почему?..

В этот момент режиссер захлопал в ладоши и попросил приготовиться к съемке. Все участники беседы приосанились, то есть немец водрузил на короткий нос пролетарские очки в железной оправе, итальянец откинул со лба седые пряди, чтобы быть еще ближе, еще понятнее своим читателям, русский эмигрант, иными словами, сорокавосемилетний писатель, только что выпихнутый из Москвы, еще точнее – я, автор этой книги, попытался изобразить легкость, приветливость, международный лоск, не очень-то уместные в его нынешнем положении.

Мы сидели на раскладных парусиновых креслицах на вершине идеально круглого и идеально зеленого холма. Внизу, на разных уровнях, в складках предгорья пестрели строения городка, название которого звучит как флейточка – Кортина-д'Ампеццо. Вокруг, по всему окоему, торчали гребнями, башнями, клыками и круглились глазированные боками Доломитовые Альпы.

В то лето 1980 года я был итальянской знаменитостью. За несколько месяцев до выезда из СССР в Милане вышел итальянский перевод «Ожога». Итальянские журналисты нашли меня в Париже. Муниципалитет Кортины пригласил нас с женой на отдых в свои блаженные края. Сейчас телевизионщики приволокли меня на беседу с участием своего знаменитого соотечественника и знаменитого немца из Гамбурга. Все это смахивало бы на рекламу курорта, если бы не наши подержанные лица и кисловатые мины. Немцу явно не нравилось то, что говорил я. Меня слегка воротило от высказываний немца. Итальянцу нравилась родная речь. Меня не оставляло ощущение, что мы слегка засоряем окружающую среду.

После съемок прохлаждались в маленькой траттории. Немец вернулся к американской теме. Уехать из России и отправиться в Америку? Из одного ада в другой? Да вы, дружище, попросту не понимаете происходящего. Итальянец улыбался: не любит Америку, потому что она отвергает теории Шпенглера. Они были очевидными друзьями, и им очевидно было наплевать на меня.

Собственно говоря, я не понимал ни того, ни другого. У меня еще голова кружилась после последних московских недель, когда ежедневно являлись прощаться друзья, группа за группой, вперемешку со стукачами. Эмиграция отчасти похожа на собственные похороны, правда, после похорон вегетативная нервная система все-таки успокаивается.

Что он несет про Америку, этот знаменитый немец? Ведь я же там был каких-нибудь пять лет назад. Вот там мы тогда дали шороху! Даже книжку написал – «Круглые сутки нон-стоп»! Какое сравнение с СССР, если там за сутки включаешься лишь пару раз по получасу, да и то все вокруг заполнено неподвижным грохотом и воем?

– Ну и немец! Вот когда смотришь на такого, приходит в голову, что Европе все равно было бы несладко, победи на выборах не Гитлер, а Тельман.

– А итальянец? Тоже хорош. Ты заметил, что у него вся шея оплетена золотыми цепочками? Запястья тоже. Эстетика Габриеле Д'Аннунцио. Загадочность этого неороманского декаданса. Что он говорил о Шпенглере?

– Черт его знает. Не очень-то хорошо помню, кто такой этот Шпенглер.

Так, равнодушно обсуждая наших недавних компаньонов, мы с женой как бы избавлялись от них и от их к нам – равнодушия. Конечно, мы были не правы. Никаким там фашизмом или коммунизмом и не пахло. Оба писателя были почтенными грешниками, философскими неряхами, «дарлингами» Европы и бесконечными страдальцами мужского климакса; словом, талантами. На Америку им было, конечно же, наплевать, как и на наш туда предположительный отъезд.

Пересекали океан самолетом компании TWA. Все почему-то казалось недоброкачественным. Ланч – синтетический, фильм – бредовина, стюардессы – усталые и неприветливые (клячи), сродни советским.

Что происходит? Пять лет назад я пролетал той же самой трансмировой компанией над тем же самым океаном, и все было наоборот: жратва ароматная, стюардессы секси, фильм шедевральный...

Вспомнился рассказ Брэдли об экскурсии в доисторическое прошлое. Туристов предупреждают не ступать ни шагу с искусственной тропы, иначе возникнет опасность нарушения среды прошлого, а это может привести к непредвиденным последствиям в будущем, то есть в том времени, откуда они приехали и куда намерены после экскурсии возвратиться.

Герой рассказа, однако, зазевался и наступил на бабочку, сидевшую на обочине. Ну, думает, ничего страшного – что изменится из-за какой-то бабочки, жившей миллион лет назад? По возвращении в свое время он нашел, что и в самом деле ничего не изменилось, за исключением того, что избирательная кампания, в которой он ждал победы разумных положительных сил, приобрела какой-то необъяснимый иррациональный характер, а язык газет, ставший вдруг малограмотным и хамским, полон каких-то неясных угроз.

Я подумал, что с первого дня прибытия на Запад и потом, во время трехмесячных скитаний по Европе, и сейчас, в американском самолете, меня не оставляло вот это ощущение «раздавленной бабочки». Раньше все было лучше, казалось мне, просторней, красивей; больше здравого смысла; меньше пахло потом и дезодорантами.

Может быть, ухудшение это мне лишь кажется, может, всегда так было, может быть, просто мизантропические миазмы пресловутого *midlife crisis* одолевают? А может быть, «раздавленной бабочкой» западной цивилизации оказалось эмбарго 1973 года, и вот сейчас все еще тянутся его последствия в виде каких-то мелких, вроде бы почти незаметных ухудшений, что, будучи собранными вместе, как раз и дают запашок сомнительных качеств, халтуры?

Есть идеальная фраза для описаний путешествий, я вычитал ее в русской книжке конца восемнадцатого века, которая называлась «Приключения модистки с Кузнецкого Моста и приказчика из Каретного Ряда» и не была обременена ничем посторонним, не исключая и имени автора. Звучит эта фраза так: «Марш теперь в Сокольники, и вот мы уже в Сокольниках!» Это ли не перл? Увы, современная проза, как свинья, равнодушна к россыпям подобных сокровищ.

Итак: марш теперь в Америку, и вот мы уже в Америке! К сожалению, подобный лаконизм застревает в аэропорту Джона Фицджеральда Кеннеди. Огромные очереди к паспортному контролю, несметные толпы вокруг багажных каруселей, мельтешение трех лучших из миров (с преобладанием третьего) в зале таможни.

На пограничных постах, дорогой господин Клаус Габриель фон Дидерхофен, все-таки чувствуется разница между СССР и США. Если первый гигант свирепо не выпускает людей из своих «священных пределов», второй лишь вяло и чаще всего безуспешно отбивается от желающих проникнуть под звездно-полосатую сень; а хочешь уехать – катись!

Ненависть к америке

Сейчас, после четырех уже лет жизни в этой стране, я все еще задаюсь вопросом, что вызывает у многих людей в Латинской Америке, в России и в Европе антиамериканские чувства такой интенсивности, что их иначе, как ненавистью, и не назовешь?

Эти чувства всегда носят какой-то особый, несколько истерический характер, как будто речь идет и не о стране, а о женщине, изменившей с другим.

Отставим в сторону (до поры) антиамериканскую пропаганду, входящую в стратегический план противоборствующей стороны, то есть Советского Союза и его идейного штаба Агитпропа.

К эмоциональной сфере эта так называемая война идей относится в той же степени, что и бактериологическая, с антраксом, бомба. Будем говорить лишь о чувствах, комплексах и подсознательной неприязни.

Один советский поэт однажды спросил у Эрнесто Че Гевары, почему тот столь пылко и искренне ненавидит Америку. Че разразился тирадой по поводу империализма янки, закабаления экономически слабых стран жадными монополиями, экспансионизма, подавления народно-освободительных движений и так далее. Поэт, надо отдать ему должное, не удовлетворился этим уроком политграмоты и поинтересовался, нет ли чего-нибудь личного в этих чувствах. Революционер осекся, замолчал, покручивая в руках бокал своего неизменного дайкири, и, глядя в сторону Флориды (вообразим, что разговор происходил на борту яхты «Гранма»), потом начал рассказывать любопытную историю.

Не знаю, вошла ли эта история в различные биографии Че, которыми пестрят витрины книжных лавок, пересказываю ее со слов поэта.

Подростком в своей Аргентине Эрнесто культивировал Соединенные Штаты как страну своей мечты, напропалую смотрел голливудские вестерны и напевал джазовые хиты. Страсть к путешествиям мальчик удовлетворял бесконечными поездками на велосипеде вокруг Буэнос-Айреса.

Однажды на загородном аэродроме он увидел, как в транспортный самолет грузят скаковых лошадей для отправки в Америку. Революционные задатки юнца сработали немедленно, он решил пробраться в самолет и таким образом бесплатно оказаться в стране мужественных ковбоев и дерзких блондинок. Сказано – сделано, и вот он в самолете, и вот он в Америке.

Лошадок разгружали где-то в Джорджии. Стояла стоградусная жара [По Фаренгейту]. Обслуга обнаружила аргентинского искателя приключений, отпустила ему, разозлившись, хорошую порцию тумачов и заперла в пустом самолете.

Три дня провел парень без еды и питья в раскаленной железной коробке. Потом его отправили восвояси.

«Этого самолета, – тихо сказал Че нашему поэту, – я им никогда не забуду». Потом снова воспламенился: «Ненавижу всех гринго, их развязные голоса, их наглую походку, самоуверенные взгляды, похабные улыбки...»

Не исключено, что у многих латиноамериканских революционеров-антиамериканистов, скажем, у сандинистов в Никарагуа, был в прошлом вот такой самолет, пусть и не столь раскаленный, как у Че Гевары, были еще более случайные и скоротечные, но все-таки удары по самолюбию, шлепки унижений, которые можно было отнести к блондинистому гиганту

на Севере. Провинциальные комплексы неполноценности сыграли огромную роль в распространении марксистских идей.

Смешно сказать, но во многих случаях, если не в большинстве, речь идет о чистейшем недоразумении. После четырех лет жизни здесь можно твердо сказать, что американцы не любят унижать людей. Их «развязные голоса» – просто манера их речи, «наглые походки» – просто-напросто выработанная в поколениях фигура передвижения тела в пространстве, «самоуверенных взглядов» и «похабных улыбок» – в массе не встречается, а если они и встречаются, то по большей части происходят от простодушного следования какому-нибудь кино- или телеимиджу.

Ко всему прочему, сейчас этот образ американского супермена все дальше уходит в прошлое, оттесняется на окраины. Интересно и печально было в этой связи наблюдать американских морских пехотинцев, окопавшихся на окраине Бейрута. Советская пропаганда вопила на весь мир, изображая этих ребят как захватчиков, насильников, а они были скорее похожи на простых молоденьких работяг. Вот вокруг них, на улицах разрушенного города и на холмах Ливана, шуровали как раз самые что ни на есть «американцы» в ковбойских шляпах, в джинсах и жилетках – арабские головорезы и террористы демонстрировали «развязные голоса», «наглые походки», «похабные улыбки».

Ненависть к американцу – это, по сути дела, ненависть к устаревшему стереотипу, фантому целлулоидной пленки.

Интересно было бы проследить корни антиамериканских чувств, возникающих в идеологизированных обществах. Геббельс с искренним изумлением докладывал Гитлеру о допросах первых американских военнопленных, взятых в Сахаре. В них нет никакой идеологии, мой фюрер, то есть, по сути дела, они лишены каких бы то ни было человеческих качеств.

Я думаю, что и нынешних западногерманских левых бесит отсутствие у американцев идеологического начала. Когда какой-то лидер «Зеленой партии», собрав пробирку собственной крови, выплеснул ее на мундир американскому генералу, со страниц газет дохнуло ранним гитлеризмом, какими-то заклятиями Нюрнберга.

Берусь утверждать, что у русских, несмотря на десятилетия пропаганды, до сих пор еще не выработался антиамериканский комплекс. Недоверие к Америке как к явлению цивилизации существует (или существовало?) у русской послереволюционной интеллигенции в принципе, как у части общеевропейской левой. Уместно, может быть, вспомнить упомянутую сеньором Бугаретти теорию Шпенглера: Америка и в самом деле опровергает тезис о закате Запада.

Первым русским революционным писателем, посетившим США, был Максим Горький. Страна вызвала у «буревестника революции» неслыханное раздражение. Нью-Йорк он назвал «городом Желтого дьявола», а джаз определил – со столь свойственным ему отсутствием эстетического чутья – как «музыку толстых».

Великолепнейший прозаик двадцатых годов Борис Пильняк написал после своего путешествия в Штаты «американский роман» под названием «О'кей». Увы, этой книге больше бы подошло другое слово из четырех букв – shit [Дерьмо.]. Антиамериканизму Пильняка позавидовал бы любой служака из Агитпропа. На каждом перекрестке, бия себя в грудь, этот истинный мастер прозы с неожиданной пошлостью заявлял: я советский человек! Все в Америке отталкивало его. В панике он убежал от голых ножек мюзик-холла. «Не может советский писатель выступать перед голопупыми девками!» – ошеломляющее ханжество для писателя, бесстрашно внесшего в пуританскую русскую литературу натурализм и секс!

Конечно, можно предположить, что Пильняк пытался этой книгой замолить свои прежние грехи перед Сталиным, но чувствуется и доля искренности в этих эмоциях.

Маяковского в его американском путешествии раздирали восхищение и неприязнь. Футуристическая, художественная часть его натуры ликовала при виде небоскребов и гигантских стальных мостов. Бродвейская лампиония бодрила творческие железы. Левореволюционное троцкистское сознание между тем подыскивало негативные аргументы:

*Я в восторге
от Нью-Йорка города.
Но кепчонку
не сдерну с виска.
У советских
собственная гордость:
на буржуев смотрим свысока.*

В профетическом откровении поэт предположил, что Соединенные Штаты, возможно, станут последней в мире «крепостью капитализма перед лицом „атакующего класса“». Примерно те же чувства выразили знаменитые советские сатирики Ильф и Петров в книге 1936 года „Одноэтажная Америка“.

Я думаю, все дело тут заключалось в том, что эти русские (читай – левоевропейские) художественные путешественники были ошеломлены полным равнодушием Америки к величайшему потрясению их жизни, Октябрьской революции.

Одни из них могли принимать ее полностью, как Маяковский, другие, как Пильняк, могли испытывать к ней противоречивые чувства, среди которых преобладало отвращение, но и для тех и других она, революция, была сродни новому потопу. Великий очистительный процесс, мучительное рождение нового общества.

В истории, казалось, все прояснилось после революции. Теории заката Европы и гибели западной цивилизации пришли в действие. Пусть реакционные правительства Англии и Франции еще упорствуют, все равно и они чувствуют, что приходит новый век, что солнце на востоке уже встало. Пусть многие из нас в душе еще скорбят по старому миру с его элегантностью, вежливостью и изобилием, все равно мы присоединяем свой шаг к громовой поступи атакующего класса, наш голос – к симфонии Будущего... И так далее.

И вдруг выясняется, что за океаном существует огромное общество, которое даже не очень-то отчетливо понимает, о чем идет речь, когда витийствуют пророки нового потопы, а на грандиозное космическое событие революции взирают как на местную российскую заварушку. Общество это, Соединенные Штаты Северной Америки, возмутительно не принимает в расчет ни Маркса, ни Шпенглера, ни Ленина. Оно вовсе и не собирается закатываться, разлагаться, впадать в декаданс. У него просто времени на это нет. С бешеной энергией оно делает деньги, деньги, деньги, и в результате этого недостойного, безобразного дела вырастают невиданные в старом мире небоскребы, страна опоясывается невероятной сетью шоссе, рабочие, вместо того чтобы делать революцию, покупают автомобили.

Пильняк, Маяковский, Ильф и Петров подсознательно, очевидно, почувствовали, что в Америке речь идет об альтернативе насильственной революции. Отсюда и возникало вполне искреннее раздражение. Великое дело, к которому они были причастны, оказывалось под вопросом.

Сейчас, в сумерках коммунистического мира, это ощущение еще более обостряется. Думаю, что многим крупным деятелям Советского Союза нынче стало ясно, что они представляют отнюдь не «новый мир», но мир отсталый. Революция с позиций сегодняшнего дня кажется древним актом насилия и бессмыслицы, по сути дела, продуктом первично-буржуазного европейского декаданса. Американский же капитализм с его идеей благотворного

неравенства на гребне технологической революции вкатывается в какой-то поистине новый, еще неведомый, не вполне достоверный, но новый либеральный век.

Любовь к америке

В 1952 году девятнадцатилетним провинциальным студентом случилось мне попасть в московское «высшее общество». Это была вечеринка в доме крупнейшего дипломата, и общество состояло в основном из дипломатических отпрысков и их «чувих». Не веря своим глазам, я смотрел на американскую радиолу, в которой двенадцать пластинок проигрывались без перерыва. А что это были за пластинки! Мы в Казани часами охотились на наших громоздких приемниках за обрывками этой музыки, а тут она присутствовала в своем полном блеске, да еще сопровождалась портретами музыкантов на конвертах: Бинг Кросби, Нат Кинг Кол, Луи Армстронг, Пегги Ли, Вуди Герман...

Девушка, с которой я танцевал, задала мне страшный вопрос:

– Вы любите Соединенные Штаты Америки?

Я промычал что-то нечленораздельное. Как мог я открыто признаться в этой любви, если из любого номера газеты на нас смотрели страшные оскаленные зубы империалиста дяди Сэма, свисали его вымазанные в крови свободолюбивых народов мира длинные пальцы, алчущие все новых жертв. Недавний союзник по Второй мировой войне стал злейшим врагом.

– Я люблю Соединенные Штаты Америки! – Девушка, которую я весьма осторожно поворачивал в танце, с вызовом подняла кукольное личико. – Ненавижу Советский Союз и обожаю Америку!

Потрясенный таким бесстрашием, я не мог и слова вымолвить. Она презрительно меня покинула. Провинциальный стилижка «не тянет»!

Сидя в углу, я смотрел, как передвигаются по затемненной комнате загадочные молодые красавцы. Разделенные на пробор блестящие волосы, белозубые сдержанные улыбки, сигареты «Кэмел» и «Пэл-Мэл», словечки «дарлинг», «бэби», «летс дринк». Парни были в пиджаках с огромными плечами, в узких черных брюках и башмаках на толстой подошве.

Наша компания в Казани тоже изо всех сил тянулась к этой моде. Девушки вязали нам свитера с оленями и вышивали галстуки с ковбоями и кактусами, но все это было подделкой, «самостроком», а здесь все было настоящее, американское.

– Вот это класс! – сказал я своему товарищу, который привел меня на вечеринку. – Вот это стилиги!

– Мы не стилиги, – высокомерно поправил меня товарищ. Он явно играл здесь второ-степенную роль, хотя и старался всюю соответствовать. – Мы – штатники!

Это был, как выяснилось, один из кружков московских американофилов. Любовь их к Штатам простиралась настолько далеко, что они попросту отвергали все неамериканское, будь то даже французское. Позором считалось, например, появиться в рубашке с пуговицами, пришитыми не на четыре дырочки, а на три или две. «Эге, старичок, – сказали бы друзья-штатники, – что-то не клево у тебя получается, не по-штатски».

(Замечу в скобках, что в Америке встречались мне эмигранты из тех молодых штатников. Сейчас они отвергают все американское, ездят в «Фольксвагенах», а одежду покупают у итальянцев.)

Та вечеринка завершилась феерическим буги-вуги с подбросами. Я, конечно, в этом не принимал участия, а только лишь восторженно смотрел, как взлетают к потолку юбки моей недавней партнерши. Под юбками тоже все было настоящее! Впоследствии я узнал, что девчонка была дочерью большого кагэбэшника.

В разгар холодной войны Соединенные Штаты и не подозревали, сколько у них поклонников среди правящей советской элиты. Мы недавно фантазировали с одним западногерманским кинорежиссером на тему его будущего сатирического фильма. В большом европейском отеле несколько месяцев подряд идут советско-американские переговоры по разоружению. Главы делегаций сидят напротив друг друга. Это мужчины лет пятидесяти. «Они полностью не понимают друг друга, – говорил режиссер, – люди разных миров, совершенно разный „бэкграунд“». „Не совсем так, – возражал я, – возможно, в молодости оба танцевали под рок-н-роллы Элвиса Пресли“.

В «низах» проамериканские чувства базировались на более существенных материях. В памяти народа слово «Америка» связано было с чудом появления вкусной и питательной пищи во время военного голода. Мешки с желтым яичным порошком, банки сгущенки и ветчины спасли от смерти сотни тысяч советских детей.

Коммуникации поддерживались американскими «Студебеккерами», «Дугласами», «Доджами». Без них Советской Армии пришлось бы наступать не два года, а десять лет. Америка посреди тотальной смерти связывала с жизнью, да еще с такой жизнью, о какой советские люди и не мечтали. Присутствие вблизи «американского союзника» будило в массах какую-то смутную надежду на перемены «после войны».

До войны в народе, по сути дела, не было никакого ощущения Америки. Бытовали какие-то дикие куплетики, относящиеся не столько к Америке, сколько к странностям и сюрреализму народного юмора:

*Америка России подарила пароход.
Огромные колеса и ужасно тихий ход.*

Или еще пуще:

*Один американец
Засунул в жопу палец
И думает, что он
Заводит патефон.*

Любопытно отметить, что при почти полном отсутствии ощущения Америки оба этих шедевра имеют какое-то отношение к технике. Америка всегда соединялась с чем-то вращающимся, с какой-то пружиной.

Во время войны возникло стойкое ощущение Америки как страны сказочного богатства и щедрости. Встречи в Европе на волне победной эйфории породили идею о том, что мы, то есть русские и американцы, очень похожи. Если бы вы попробовали уточнить, в чем же мы так похожи, в большинстве случаев ответ бы звучал так: «Они, как мы, простые и любят выпить». И побезобразничать любят? – попробуете вы еще больше уточнить. «Ну не то что побезобразничать, но пошуметь не дураки», – будет ответ.

Десятилетия послевоенной антиамериканской пропаганды не поколебали этой уверенности в «похожести». Русские, как ни странно, до сих пор относятся к американцам как к своим. Вот к китайцам они относятся как к инопланетянам. Происходит нечто парадоксальное. Идеи коммунизма пришли в Китай через Россию, однако русские в глубине души уверены, что уж если кто и приспособлен к коммунизму, так это китайцы, а не они.

В 1969 году, во время боев на советско-китайской границе, мне случилось быть поблизости, в Алма-Ате. Однажды в ресторане гостиницы я оказался за одним столом с офицером-ракетчиком. Он был вдребезги пьян и плакал как ребенок. «Война начинается, – бормотал он, – а я только что мотоцикл купил. Отличный такой мотоцикл „Ява“. Пять лет деньги

копил на мотоцикл, а теперь китайцы придут и отберут такую машину...» «Боишься китайцев?» – спросил я. «Да не боюсь я их, – слюнявился он, – мотоцикла только жалко». Я тут не удержался от провокационного вопроса: «А американцев ты не боишься, старший лейтенант?» Офицер на мгновение протрезвел и произнес довольно твердым голосом: «Американцы уважают личную собственность».

Официальная цель советского общества – достижение так называемого коммунизма. При отсутствии религиозной идеи эта цель приобретает чисто прагматический и довольно идиотский характер самообслуживания – «удовлетворение постоянно растущих запросов трудящихся». Интересно, что советская производительная статистика на протяжении всего своего существования подтягивается к американской. В 1960 году Хрущев выдвинул две параллельные идеи: к 1980 году перегнать Америку и к этому же сроку построить коммунистическое общество, то есть, в понимании широких масс, общество полного изобилия. Обе цели, разумеется, провалились (обогнали, кажется, только по количеству танков), так что и сейчас торговые ряды супермаркета «Сэйфвей» далеко превосходят самое-рассамое коммунистическое воображение измученного очередями и нехватками советского гражданина.

Среди всех этих смутных послевоенных проамериканских эмоций и массивной антиамериканской пропаганды возникла и возросла группа советских людей, подсознательно, эстетически, эмоционально и даже отчасти идейно, устремленных к Америке. Я имею в виду советскую интеллигенцию моего поколения.

Трудно объяснить все-таки выход этого поколения, так тщательно подготовленного к советской жизни (одни лишь аресты отцов в 1937 году чего стоят!), за пределы советского круга. В сущности, мы должны были стать еще более идеальными «новыми людьми», чем даже наши старшие братья, советские интеллигенты, уходившие добровольцами на Финскую войну, ибо и эту злодейскую вылазку они полагали продолжением великой революционно-освободительной борьбы. Все исходящее из Кремля казалось им благородным и светлым. Интеллектуалы из знаменитого Института философии и литературы оправдывали и чистки тридцатых годов, и антикосмополитическую кампанию сороковых. Разоблачение Сталина стало для них катастрофическим событием (несмотря на то, что многие с их коммунистическим энтузиазмом оказались в лагерях), а начавшаяся оттепель – мучительным процессом переоценки ценностей.

Для нас же это было просто начало карнавала. К черту Сталина! Давайте играть джаз! Как ни странно, мы были подготовлены к этому about face [Кругом!](команда) повороту еще в сталинские времена. В разгар холодной войны, живя за нерушимым железным занавесом, мы как-то умудрились развить прозападное направление ума, и в этом направлении, конечно, преобладал американизм.

После войны в Германии в руки советских властей попало немалое число так называемых трофейных фильмов. В большинстве своем это был sentimentalный хлам или нацистские антибританские поделки, но было также несколько фильмов из американской классики тридцатых годов. Станным образом власти в поисках источника дохода пошли на идеологический компромисс и пустили эти фильмы в прокат. Странность усугубляется еще и тем, что советская кинопромышленность в те времена сократила свое производство до трех-четырех лент в год как раз под давлением идеологического груза.

Прокат трофейных фильмов был незаконным в правовом отношении, поэтому они шли под другими названиями. «The Stage-coach», например, назывался «Путешествие будет опасным», «Mr. Deeds goes to Washington» – «Под властью доллара», «The roaring Twenties» – «Судьба солдата в Америке»... К этим слегка «идеологизированным» названиям добавлялась страничка-другая достаточно идиотских вступлений вроде того, что «Путешествие будет опасным» рассказывает о героической борьбе индейцев против империализма янки,

обрезались все титры, так что мы не знали имени ни Джона Уэйна, ни Джеймса Кегни, и в таком виде фильмы выпускались на экран.

Я смотрел «Путешествие будет опасным» не менее десяти раз, «Судьбу солдата в Америке» не менее пятнадцати раз. Было время, когда мы со сверстниками объяснялись в основном цитатами из таких фильмов. Так или иначе, для нас это было окно во внешний мир из сталинской вонючей берлоги.

Кто-то первым записал песенку «Грустный бэби» на рентгеновскую пленку, и с тех пор среди теней ребер и альвеол уже поселилось откровение о том, что: «Every cloud must have a silver lining...» [Есть у тучки светлая изнанка...]

Один из моих сверстников, будучи уже высокопоставленным офицером советских ВВС, как-то сказал мне: «Большую ошибку допустил товарищ Сталин, разрешив нашему поколению смотреть трофейные фильмы».

Джаз в те времена был и в самом деле американским «секретным оружием». Радиостанция «Голос Америки» в Танжере каждую ночь передавала двухчасовую джазовую программу. Мечтательные русские мальчики пятидесятых годов росли под звуки элингтоновского «Take train „А“ и под бархатные перекаты голоса джазового комментатора Уилиса Кановера. Музыку записывали на допотопных магнитофонах, а потом играли сами на полуподпольных джазовых вечерах, нередко сопровождавшихся драками с комсомольской дружиной и вмешательством милиции.

Клочки музыки, обрывки информации создавали золотое свечение ауры, поднимавшейся над горизонтом на закате, над недоступным и таким желанным Западом и над самым западным Западом, над Америкой. Одежда из Америки фетишизировалась. По Невскому проспекту в Ленинграде ходила толпа стилиг. Дергая конечностями (так, им казалось, должны были вести себя американцы на Бродвее; кстати, и Невский проспект они называли «Бродом»), они пели: «Я девушку встретил прекрасней зари, зовут ее Пегги Ли!» В самом первом фельетоне о стилигах говорилось о парнях, разгуливающих по Невскому в галстуках со звездами и полосами. Стилиги, можно сказать, были первыми советскими диссидентами.

Ленинград в этом западничестве в те времена был впереди. Система его каналов выводила на большую воду. Распространился тип ленинградского всезнайки, у которого вы могли получить информацию по любому «американскому» вопросу, начиная от всех ранних советских и позднее запрещенных публикаций Дос Пассоса и Хемингуэя и кончая последним концертом Диззи Гиллеспи, который состоялся в Гринвич-Виллидж, в клубе «Половинная нота» в прошлую субботу... нет, вру, старичок, это было в пятницу, а в субботу-то там играл Чарли «Берд» Паркер, там был тогда сильный дождь... вообрази себе дождь в Гринвич-Виллидж, старичок... уссаться ведь можно, правда?

Так возникал в воображении нашего поколения странный, немыслимо идеализированный, искалеченный, но и удивительно истинный, если говорить о каком-то нервном, астральном ее контуре, образ Америки.

Анализом этого явления тогда мало кто занимался, да и сейчас, кажется, не очень-то занимаются. Не претендуя на анализ, а только лишь глядя с расстояния в тридцать лет, могу сказать, что культ Америки возник в нашем поколении благодаря его стихийной, поначалу совсем неосознанной антиреволюционности.

Так называемая романтика революции к возрасту юности нашего поколения почти уже испарилась. Звучит неправдоподобно, но уже начала возникать романтика контрреволюции, глаза молодежи стали задерживаться на образе офицера-добровольца. В отличие от Горького, Пильняка, Маяковского, мы подсознательно отказывались видеть в революции некий очищающий вселенский потоп, потому что вместо очищения он приносил столь же кровавый, сколь и тоскливый быт сталинщины.

Америка возникала в тумане как новая альтернатива древнему и тошнотворному делу социальной революции, то есть восстанию рабов против господ.

Прошедшие тридцать лет развеяли многие мои иллюзии, но вот в этом я не поколеблен. Напротив, сейчас я гораздо яснее вижу, что в противовес тоталитарному декадансу в мире может возникнуть (или уже возникает) свежий мир либерализма и благородного неравенства. Слава Богу, во главе этого движения стоит могучая Америка.

Штрихи к будущему роману

Никто естественнее и легче Пушкина не сказал о приближении к роману: «...И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще не ясно различал».

Даль моего «американского романа», как бы сплюснутая и растянутая широкоугольной оптикой, «различается» от странной точки (на нее же и проецируется), от урбанистического уголка Америки, где выпадающая таинственным образом из числа пронумерованных улиц Бетховен-стрит проходит под бетонными кружевами развязки фривея и обрывается в виде автомобильного паркинга, асфальтовой лужи над слепящим пространством то ли Тихого, то ли Атлантического океана, где пара пальм (или три?), где три-четыре пальмы колышут свои потрескивающие под ветром ветви... хотя может оказаться, что пальмам здесь вовсе нечего делать... так или иначе, герой моего романа стоит на краю паркинга и... Кто таков?

Герой Моего Романа, ГМР, Него of My Novel, HMN, Her Majesty Navy... [Флот Ее Величества.]

Предусматривается бренчание какой-нибудь старой американской музыки, и в связи с этим неожиданно всплывает название будущего романа – «Грустный бэби».

Must every cloud have a silver lining?

Вдруг эта мелодия стремительно выносит нас в наше собственное прошлое, в «казанское сиротство», в волжский город под властью Сталина...

1952

Девушек с факультета иностранных языков называли «будущие шпионки». Иначе зачем учить иностранные языки, как только не шпионить?

В кассовом зальчике паршивого клуба Мехкомбината, где вечно пахло мочой (хулиганы мочились там прямо в углу), кучка девушек в очереди на трофейный фильм «Судьба солдата в Америке». Шпионки из малого состава местных хороших семей. Одна, черноглазая, веселая (через тридцать лет встреча в магазине «Блэк Си» на Брайтон-бич), говорит:

– А знаешь, как этот фильм на самом деле называется? «Ревущие двадцатые».

Какой блеск, подумал ГМР. Похоже на «ревущие сороковые широты». Хотите снимать кино – научитесь подыскивать названия.

Приходи ко мне, мой грустный бэби! О любви, фантазии и хлебе... (пардон, это уже несколько позднее – 1955, и не из той оперы) будем говорить мы спозаранку – есть у тучи светлая изнанка...

Есть ли у тучи светлая изнанка?

1980

Кондоминиум «Пацифистские палисады», где ГМР снимает так называемую студию за триста баксов в месяц.

Сосед, опытный американец Гагик Саркисян, однажды заметил, что ГМР пересчитывает двадцатки: первая зарплата в «Колониал паркинг».

– На вашем месте, – сказал он задумчиво, – я бы отдал эти деньги мне, то есть вложил бы их в надежный бизнес засахаренных фруктов. Что бы ни говорили врачи, люди любят сладенькое...

ГМР почесал в затылке.

– Под этим же девизом я потрачу их на гавайский уик-энд.

Гагик вздохнул.

– Тоже правильно. Feel rich [Чувствовать себя богатым.]. В этой стране это очень важно.

1955–1980

Кронштадт – Оаху, Гонолулу.

*Далекой молодости блики
Перед грозой на Вайкики...
Когда-то дерзок был и юн,
Носился в молодежном раже.
За дерзость сослан был в гальюн.
Гальюн Морского Экипажа!
Бунтарской жаждой томим
На сто «очков» ангар за кухней.
Входи смелей, гардемарин,
Располагайся, словно Кюхля!
В тот год Кронштадтский гарнизон,
Границу запечатав глухо,
Был всеми яйцами влюблен
В красотку Маику-фармазон,
С бензоколонки злую шлюху.*

1956

Опорный пункт комсомольской дружины Васильевского острова. Мы тебе, падло, покажем американские танцы с польским ревизионизмом! Сейчас увидишь Дальний Запад, пятый угол! Мы тебя, плохой краснофлотец, научим родину любить!

Глава вторая

– Нью-Йорк похож на чувака, который заботится о своей прическе, но не пользуется туалетной бумагой. Увы, мы живем у него не на макушке, а в заднице, – так говорил нам русский музыкант, с которым мы нередко прогуливались в первую неделю нашей американской жизни.

– Некоторое художественное преувеличение, Вова?

– Боюсь, что художественное преуменьшение. Обведи глазами этот потрясающий высотный силуэт, а потом спикируй взглядом на мостовую. Выбоины, ямы, лужи... Для полного сходства с Миргородом не хватает только пары свиной. Впрочем, взглядишь в толпу, ну, вот этот, например, джентльмен... чем тебе не свинья?

Одно из самых сильных впечатлений первой недели. На Седьмой авеню, которую называют улицей моды и где выходящая из лимузина шестифутовая красавица манекенщица столь же обычное явление, сколь в Москве неизменная бабушка с сумкой-авоськой, возле потрескавшейся вазы с чахлым цветком остановился некто серокожий, расстегнул ширинку, вывалил свое хозяйство, отлил, заправился и дальше заколебался.

– М-да, Вова...

– А не напоминает ли тебе, Вася, поездка в такси по Медисон-авеню путешествие по бездорожью Рязанской области в поисках затоваренной бочкотары? Впрочем, такого гнетворного запаха там, наверное, не чувствовалось, а? А вот эти клубы пара неизвестного происхождения, валящие из трещин асфальта по соседству с бриллиантами «Тиффани»? Здесь говорят, что это нью-йоркские черти сигнализируют: «Мы здесь, мы здесь!» А грязь в углах на Пятой авеню? Ее уже брандспойтом не отмоешь, нужно скрести, но никто не скребет...

– Что же ты тут живешь, Вова? Ведь ты же после эмиграции и в Париже, и в Иерусалиме, и в Лондоне, и в Берлине, и в Риме, где только не побывал.

– Только в Нью-Йорке можно жить, – убежденно сказал критик антисанитарии. – Это как раз то самое место, куда я эмигрировал. Поездив по миру, я убедился, что жить можно только в Нью-Йорке... – После секундного молчания он добавил: —...Или в Москве... – После еще одной паузы: —...Но туда уже хода нет...

Вова снимает огромный лофт [Лофт, пентхаус – чердачные помещения, постройки на крыше, переделанные под квартиры, студии.] в доме с перекосившимся фасадом на одной из улиц Сохо. Он облюбовал эту улицу, прокопченную каким-то вековым пожаром, и дом, чудовище коммерческой архитектуры конца девятнадцатого века, еще до того, как началась бурная мода на Сохо, и потому платит за свой лофт немного. Там у него стоит рояль рядом с газовой плитой и в двух минутах ходьбы от рояля разбито лежбище из надувных матрасов, над коим по стене с подтеками выведена надпись: «Укрощение строптивых».

В Нью-Йорке осело немало советского артистического люда из новой эмиграции – и мастера, и подмастерья, и голоштанная богема. Образ жизни этих людей мало изменился в сравнении с Москвой или Питером, разве что не нужно с утра рыскать по городу в поисках пива. В прежнем стиле бытуют ночные кочевья из квартиры в квартиру, из мастерской в мастерскую, из подвала на чердак, который, правда, нынче именуется пентхаус.

«Мы здесь иной раз и забываем, что переехали из Москвы, – признались нам как-то два молодых русских журналиста. – Знаете, то к Вовке едешь, то к Гришке, то к Аркадию, и девушки вокруг почти те же самые. Иной раз, правда, американцы оказываются в компании, но и в Москве ведь были американцы...»

В Бруклине на Брайтон-бич образовалась большая русская колония «Малая Одесса», но артистический люд Москвы и Ленинграда предпочитает Манхаттан. Есть несколько очажков, вокруг которых происходит концентрация, – редакции двух газет, галерея Эдуарда Нахамкина, культурный центр в Сохо, кафе «Руслан» на Медисон, ресторан «Кавказский» на Третьей авеню... С последним произошла забавная этническая накладка. Вывесили вывеску «Caucasian» [В английском языке существует понятие «кавказская раса», т. е. белые.] и долго не могли понять, чего от них хотят возмущенные негры и китайцы.

Этническая пестрота Нью-Йорка в 1980 году меня поразила. То ли она усугубилась за пять лет, то ли в 1975-м в качестве советского визитера я ее просто не заметил. Может быть, это легче замечается, когда сам становишься этническим меньшинством.

Лицо Америки в Нью-Йорке – отсутствие общего лица. Крах при любой попытке обобщения. Десятки престраннейших акцентов, самый недоступный – филиппинский. Бесчисленное число сногшибательных имен совершенно непонятного происхождения вроде Джима Гангуззы и Ричарда Зиззы...

Милейший мадагаскарец скромно рекомендует: «Меня зовут Намелетронкуонтрантариса, но это, конечно, невозможно, поэтому называйте меня попросту мистер Дезире».

Пожалуй, самая обычная нью-йоркская фамилия – Плоткин. Имя Уитни вызывает уже просьбу сказать ее по буквам.

«Вот, по сути дела, где нужно жить в Америке литературному беженцу», – сказал я Майе. Она согласилась: «Наверное, ты прав». Потом возразила: «Не хочу здесь жить». Мне и самому почему-то не хотелось обосноваться в Нью-Йорке.

Вроде бы хорошо не выглядеть белой вороной, болтаться среди своих, среди эмигрантского отребья, в городе, где половина жителей плохо говорит по-английски, как и ты сам... Не правда ли, здесь есть ощущение хоть и бивачного, но прочного быта, чувство опасности соседствует с уверенностью, что не пропадешь... Цепляемся друг за дружку по этническим, по возрастным, по профессиональным, по межполовым признакам...

– Почему русские писатели облюбовали Нью-Йорк? – спросил меня интервьюер из «Ньюсуик» мистер Вудворд. Мы ехали в такси в Колумбийский университет, и интервьюер, один из немногих попавшихся мне в первые нью-йоркские недели «настоящих» американцев, продолжал свою работу, то есть вострил карандаш.

Я начал было обдумывать свои соображения, когда таксист вдруг высунулся в окно и заорал на чистейшем ВМПС, то есть на «великом-могучем-правдивом-свободном», как мы вслед за Тургеневым называем наш русский язык:

– Еб твою мать! Распиздяй сраный! Взял мой зеленый!

Мы с Майей от неожиданности расхохотались до брызг, сползли с сидений.

– Вот вам ответ на ваш вопрос, – сказал я интервьюеру.

– А что он кричал, что он кричал? – спрашивал журналист.

Пришлось мне переводить американцу язык нью-йоркских улиц.

В принципе, присутствие такого люда, как русские таксисты, художники, магазинщики, музыканты, рестораторы, все это многонациональное варево, немыслимый город, полный блеска и мрака, любовных историй, чудодейственной наглости, смертей, неожиданных встреч, политических авантур, греха и преступления, всевозможной жратвы и выпивки, – разве это не рай для писателя? Город, где все американские издательства и журналы кучкуются, как сообщил «Нью-Йоркер», в зоне действия даже не атомной, а простой тринитротолуоловой бомбы, – разве это не соблазн для писателя?

И все-таки мне чего-то важного не хватало в Нью-Йорке. Я не сразу понял, в чем ущерб, но тем не менее мы стали обдумывать план отъезда, углубления в континент.

Вообще-то на удивление мало русских писателей-беженцев осело в Нью-Йорке, вдруг сообразили мы. Взгляни, Майя, все рассеялись. В Большом Яблоке [Символ Нью-Йорка – яблоко.] не возникло русской литературной столицы. Многие предпочитают Европу, другие разобрались по университетским кампусам... Конечно, основная причина рассеяния – экономическая, поиски заработка, однако нью-йоркских возможностей наши писатели почему-то почти не используют.

Мы объясняли сами себе наш отъезд из Нью-Йорка по-разному. «Знаешь, если останемся здесь, так и окажемся посреди Нью-Йорка в русской деревне. Засосет трясина. Даже английскому-то не научишься. К тому же: малоприятно жить в одном городе с Х и У, двумя отвратными мегаломанами. К тому же взгляни на эти цены – полторы тысячи за „двухбедренный [От two bedrooms – две спальни.] апартмент“: дорого здесь ценится общество „манхаттанских тараканов“.

Итак, поедem! Сначала в Мичиган – там хотя бы есть озера и русское издательство «Ардис», – потом в Лос-Анджелес – там хотя бы океан и резиденция в Университете Южной Калифорнии.

Мы с Майей хоть все-таки что-то здесь знали, бывали раньше. Калифорния и Мичиган все же не были для нас пустыми красивыми звуками. Можно себе только представить замешательство тысяч людей, отправлявшихся из Нью-Йорка в разные концы США. Для них, впервые в жизни покинувших свои Мински и Двински, все эти американские названия звенели одинаковым высокопробным серебром: Кливленд – Огайо, Пеория – Иллинойс, Ричмонд – Вирджиния. Потом многие взвыли в этих Пеориях и Ричмондах.

Прошло порядочно времени, прежде чем я понял, что решение уехать из Нью-Йорка было вызвано у нас прежде всего эстетическими причинами, эстетическим ущербом (то ли Нью-Йорка, то ли нас самих), а может быть, еще и глубже – непричастностью или малопривязанностью к американской ностальгии.

Американская ностальгия

Никогда не мог подумать, что вид пожарных лестниц на кирпичной стене может погрузить в столь глубокое уныние. Кажется, печальней печали не найдешь, когда видишь кварталы старых квартирных домов в Бруклине, в Манхаттане, в Куинсе, в Филадельфии или Чикаго. Узкие оконца с поднимающейся вверх рамой – лицо за таким окном не может не быть лицом неудачника. Трудно представить себе в этих домах счастливую любовную пару, вкусный обед, заманчивую книгу. Их строили, чтоб деньги гнать, качать монету в полном пренебрежении эстетическими железами человека, то есть едва ли не в глумлении над ним.

Надо сказать, и вся прочая американская урбанистическая старина, все эти браунстоуны и таунхаусы с высоким крыльцом и аляповатыми колоннами, массивные коммерческие билдинги конца прошлого века, первые небоскребы с шишечками и козыми ножками на карнизах, явно инспирировавшие стиль сталинских «архитектурных излишеств», мало что давала душе, кроме поводов для дальнейшего уныния.

Разобравшись в своих ощущениях, я пришел к выводу, что мне в Америке не хватает города, вернее – моего города, еще точнее – европейского города, исторически сложившегося и обязательно с прикосновением (хотя бы малым) «ар нуво».

Этого стиля или того, что перед Первой мировой войной возник в Петербурге как поздний русский модерн, в Америке вы почти не найдете. Тот эстетический период (столь важный для нас) здесь как бы и не существовал – в те времена Америка была (или так казалось мне) отдаленной периферией, эстетической пустыней, фабрикой жира и мыла, долларовым стойлом.

Мне нравилась современная американская архитектура, вся построенная на присутствии свободного тела в свободном пространстве; что-то еще шевелилось в душе перед домами эпохи «Великого Гэтсби», остальное, из более отдаленного, вызывало в лучшем случае молчание. С недоумением я смотрел, как в Вашингтоне при реконструкции Пенсильвания-авеню бережно сохраняют и реставрируют дом с двумя безобразными башенками, относящийся к 1910 году, когда даже в Казани или Нижнем Новгороде такого урода купцы уже не решились бы построить.

«Здесь нет городской ностальгии, – говорил я себе, – к городу относятся чисто утилитарно, поэтому так пусты после заката солнца даунтауны Чикаго, Лос-Анджелеса, Детройта, поэтому так запущены мостовые Нью-Йорка».

Позднее я понял, что ошибался, а ошибка шла от поверхностного знания, от почти полного непонимания американской ноты, от непонимания грусти этой страны, ее провинциализма, склонности ее городов к быстрому загниванию.

Недавно пришлось мне смотреть «The American Pop», отличный рисованный фильм (кажется, его сделал Бакши). Я вдруг заметил, как подчеркнуто выписано там все то, что мне казалось недостойным внимания, все эти явления антиэстетики – пожарные лестницы на фасадах, унылые проулки с мусорными баками, порчи [Porch – крыльцо, веранда.] с пузатыми колоннами, поднимающиеся вверх рамы узких окон. Вспомнился какой-то американский роман. Герой возвращается из Европы после войны, с борта парохода видит на пирсе красные ящики с кока-колой, и вид этих ящиков вызывает у него патриотический пароксизм.

Чтобы почувствовать эту американскую урбаническую ностальгию, надо сделать ее частью своей жизни. Даже российские американофилы оказались здесь в отчуждении от местной поп-культуры: выяснилось, что мы все-таки европейцы.

Еврею нужно было уехать из России, чтобы оказаться «русским» в Тель-Авиве или в Нью-Йорке. Русскому нужно было предпочесть Штаты Парижу и Риму, чтобы ощутить себя европейцем.

Вот почему мы выбираем Вашингтон после годовых скитаний. Здесь, на Капитолийском холме, между Конгрессом и Библиотекой, когда сквозь деревья со всех сторон просвечивают колоннады, ты можешь вспомнить Санкт-Петербург, перед раскрашенными фасадами Джорджтауна поймать ощущение отчужденной, но присутствующей Британии, в открытых кафе Дюпон-серкла нельзя не уловить дух Парижа и, наконец, среди новых стеклянных поверхностей даунтауна поймать пульсацию современной космополитической эстетики.

Чужая ностальгия особенно властвует в Лос-Анджелесе. Город без силуэта. Бесконечные торговые бульвары вроде Пико, Линкольна или Вентуры – улицы без архитектуры. Низкие, удобные, уродливые строения тянутся миля за милей, подпирают бесчисленные рекламные щиты. Странно застраивался этот город – будто и не существовало для его планировщиков никакого мирового опыта. Какие могли бы возникнуть грандиозные уступы на склонах холмов, какие линии шикарных отелей могли бы выстроиться вдоль океанских береговых линий; между тем здесь все разрозненно, утилитарно, случайно. Впрочем, может быть, и это отражает иную, в сравнении с нашей, урбанистическую концепцию, иную ноту, которую мы еще не слышим?

Поймать, ощутить, уловить – жалкие попытки выброшенного из своего мира беженца построить вокруг себя новую жизнь, хоть чуточку напоминающую старую.

Американские разочарования

Однажды отправились в Бронксвилл (штат Нью-Йорк) в колледж Сары Лоренс, на концерт русской камерной музыки. Полчасовой путь от вокзала Гранд-Сентрал до Бронксвилла достоин нескольких строк.

Поезд довольно долго тащится по каким-то бесконечным тоннелям, а потом выныривает в... руинах Сталинграда. Это Южный Бронкс – зияющие окна обгоревших в неизвестно каких боях домов, поросшие бурьяном пустынные улицы, дикая кошка, пересекающая свалку, – содрогнешься, представив себе ее жизнь; мелькнет иной раз какая-нибудь жалкая лавчонка, косая вывеска «Cold beer», скособоличившиеся у входа разноплеменные «калики перехожие»...

Вот иллюстрация для самой оголтелой антиамериканской пропаганды. Вообразим человека в Советском Союзе, никогда не верившего ни одному слову этой пропаганды. Чудесным образом он вдруг переносится в Южный Бронкс, где ему и говорят: перед тобой Америка! В ужасе он закрывает глаза руками: значит, они не врал, значит, все так и есть, как они говорят?

Успокойтесь, милостивый государь: все-таки они врал. Через полчаса поезд прибывает в Бронксвилл, в реальную Америку ухоженных маленьких городов, идеальных бензозаправок и супермаркетов, пространных торговых плаз [Plaza (*исп.*) – торговая площадь.] и белых дощатых домиков. Процветание страны сразу становится очевидным, когда покидаешь большие города. В России, между прочим, как раз наоборот: ее ресурсов, свободных от милитаризма, еле-еле хватает, чтобы поддерживать кое-какой уровень приличия в больших городах; провинция и село – сплошная гниль.

Южный Бронкс демонстрирует самым лучшим образом пресловутый и малопонятный русскому эмигранту «кризис городов», кроме того, он совершенно парадоксальным образом показывает странный провал советской антиамериканской пропаганды.

Дело в том, что, с точки зрения беженца из Советского Союза, такое явление, как Южный Бронкс, просто не может существовать (во всяком случае, как реальность, а не фантом советской пропаганды); в равной степени не могут существовать никакие другие негативные явления американской жизни.

Советская пропаганда за десятилетия своего существования настолько завралась, что начинает давать обратные результаты. Советские люди определенного сорта, а именно к этому «критически мыслящему» сорту относилось большинство эмигрантов, не верят ни одному ее слову – ни лжи, ни клочкам правды, необходимым для усугубления лжи. Поэтому они не верят ничему плохому об Америке из того, что сообщают советские газеты и ТВ.

К примеру, если речь идет о безработице в США (а эта речь, собственно говоря, ни на минуту не смолкает), критический советский человек обычно реагирует таким образом: эх, хорошо бы нам жить так, как живут эти американские безработные! Отчасти, между прочим, это соответствует действительности, отчасти не соответствует, но этой второй части для КСЧ (критический советский человек) благодаря советской пропаганде просто не существует.

При упоминании трущоб в американских городах КСЧ скептически улыбается: хотел бы я посмотреть на эти трущобы! Дворцы, наверное, в сравнении с нашими «хрущобами»! Это уже совсем не соответствует действительности. Советские «жилплощади» в большинстве своем хоть и тесны, но вполне доброкачественны, оборудованы удобствами и в сравнении с Бронксом не идут.

Когда советская печать пишет о высокой преступности или наркомании в США, КСЧ просто отмахивается: это все их враки, это все они нагло преувеличивают, лишь бы обосрать Америку!

В Москве стало уже привычным издеваться над советским телевидением, которое если и показывает какие-либо новости из США, то только лишь пожары, взрывы, авиакатастрофы, в лучшем случае стихийное бедствие. Люди не знают, что и американское телевидение именно такого рода событиями озабочено больше всего и меньше всего или совсем не заботится о «положительной информации». Ну, посмотрите на них, улыбается КСЧ в адрес советского экрана, по ним, так в Америке вообще ничего нет, кроме несчастий.

Таким образом, в результате антиамериканской пропаганды в воображении КСЧ складывается образ Америки как идеального общества всеобщего процветания и романтики, он и едет сюда как в страну «звездной пыли» и «Голубой рапсодии».

Тысячи советских эмигрантов, оказавшись в Америке, испытали жестокие разочарования.

Как-то мы с приятелем остановились перед красным светофором в восточной части Вашингтона. Влажность воздуха в тот день приближалась к ста процентам. Мутное солнце висело над обвисшими, словно грязные юбки, деревьями, над унылым рядом частично законченных, частично полуразрушенных таунхаусов. Трогуары и палисадники были заброшены хламом. Медлительно в мареве перемещались фигуры негритянских подростков в баскетбольных чулках. Прошла немыслимой толщины женщина. Жуткий бродяга сидел на обочине. Меж мусорных баков проскочила крыса. «Знаешь, – тихо сказал мой приятель, – я просто не мог себе представить, что в США может существовать такое».

Многие русские не могли понять сути вооруженного грабежа. Иные при виде направленного на них пистолета поднимали возмущенный шум и получали паническую пулю. Иные атаковали в ответ и обращали непривычных к такому обращению бандитов в изумленное бегство.

Прошло немало времени, прежде чем русские научились не удивляться тому, что динамичный, цветущий район города может соседствовать с кварталом маразма и гниения, что из массы улыбающихся вежливых людей вдруг может выйти ублюдок с ножом.

Многие эмигранты признавались, что они были совершенно ошеломлены феноменом американской скуки. Я уже упоминал о том, каким серебром звучали для русских (так, кажется, и для многих европейцев звучат) названия американских городов. Скука – это была последняя вещь среди их опасений, если это слово вообще приходило в голову. Как может быть скучно в городе с именем Индианаполис или в штате со свистящим, словно ветер приключений, названием Миннесота?

И далее – полыхающие в ночи рекламами острова сервиса: PIZZA HUT, BURGER KING, EXXON, K-MART, GRAND UNION, огромные паркинги, редкие фигуры, идущие к машинам, движение светящихся фар, и вдруг выясняется, что все это – рутина, глухомань, одиночество.

Лос-Анджелес – Калифорния, Голливуд, Сансет-бульвар... Воображение, даже не особенно развитое, бьет копытами, готовится в полет, как конь Пегас, и вдруг опадает мокрой тряпкой – вымершие после заката улицы, «эффект нейтронной бомбы», уныние, рутина...

Люди в роскошном и полном чудес городе Ангелов вывешивают на своих домах предупреждения armed response [Грабителям будет оказано вооруженное сопротивление.]. Перед ними замкнутый круг: они избегают гулять по ночам, опасаясь нападений, потому что пустынные улицы – соблазн для преступников. Гуляйте же больше, черт возьми, и преступники ступают. Сидите в открытых кафе, как на Елисейских полях народ сидит, оживляйте свой город! Открытых кафе в Лос-Анджелесе нет (а где им еще быть, как не в Калифорнии с ее климатом?), люди сидят во мраке в закрытых ресторанах, будто заговорщики (откуда взялась эта престраннейшая традиция ресторанного мрака?), а гуляют только между кинотеатрами Вествуда, будто по тюремному двору.

Одним из самых основательных сюрпризов для меня оказался американский провинциализм. Издалека, из-за железного-то занавеса, думалось, что Штаты с их открытыми границами, с двенадцатью языками, с их мировой политикой – самый что ни на есть перекресток универсального космополитизма. Казалось, например, что сводка погоды на ТВ непременно сообщает о температуре воды в Ницце, о глубине снежного покрова на Килиманджаро, а в новостях рассказывается о новых ботинках испанского короля, о придворных интригах при ЦК компартии Китая, о продвижении марксизма в глубь Новой Гвинеи и т. д. Увы, если эти важные международные события и сообщаются, то лишь в конце программы, второпях, мимоходом, а главным событием дня становится признание миссис Керти в том, что она была девятнадцать лет назад соблазнена директором местной школы. Директор, пожилой носатый болван, решительно отвергает это обвинение, хотя и заявляет, что сексуальная практика в школах – вопрос недалекого будущего.

Американское очарование

Число этих последних, конечно, превышает число первых, то есть разочарований, и значительно. Русский эмигрант, особенно на первых порах, попадает, например, под грандиозное очарование еды. Это не значит, что он оказывается в плену американской кухни, каких-либо изысков вроде «тибон стейк» с абрикосовым вареньем, початком кукурузы, куском арбуза, соперничающим с куском ананаса под соусом «тысяча островов», – он просто очарован изобилием и разнообразием имеющихся в наличии пищевых продуктов.

Американцы обычно не очень-то ясно представляют себе картину, когда читают в газетах сообщения о пищевых трудностях в России. В зависимости от политической ориентации они воображают себе либо чистый голод, либо перебои в доставке свежих омаров. Ни того, ни другого не существует: голода нет, потому что кое-какие продукты все-таки есть, перебоев с омарами тоже нет, потому что советские люди в лучшем случае знают о существовании этого зверя из художественной литературы.

О положении с продуктами в СССР можно судить по такой истории, недавно приплывшей из Москвы, города с самым лучшим в стране снабжением. Некто просит своего влиятельного друга достать ему килограмм швейцарского сыра. Влиятельный друг вздыхает: «Сейчас, мой милый, уже не существует ни швейцарского, ни костромского, ни голландского. Есть продукт, именуемый „сыр“, и я постараюсь его тебе достать. А хочешь, раздобуду тебе и „синюю птицу“, то есть курицу».

После этой скудости прилавки супермаркетов кажутся советскому эмигранту чудом, воплощением коммунистической мечты. Голова немного кружится, возникает стойкий комплекс вины по отношению к оставшимся там; они лишены всего этого.

С некоторыми продуктами русский эмигрант знакомится в США впервые, он даже не знает толком, что с ними делать. В одной киевской семье существовал миф о чудодейственном орехе авокадо. Покупая в супермаркете эти плоды, они очищали их, выбрасывали мякоть и молотком разбивали твердую внутренность.

Только разобравшись и освоившись в мире изобилия, эмигранты вспоминают о деликатесах русской кухни, критикуют американцев за недостаток гурманства и выискивают в русских лавках настоящий творог и настоящую селедку. Потом уже начинают считать калории.

Другое грандиозное и одно из самых первых американских очарований – это автомобили. Машина в СССР – до сих пор знак жизненного успеха и даже в некоторой степени дерзновенности, какого-то вызова принципам коллективизма; недаром владельцев машин называют частниками, как когда-то крестьян, не желавших вступать в колхозы, а ограбление автомобилей именуется раскулачиванием.

Я до приезда в США десять лет водил машину и даже роман написал о превратностях российского автомобилизма. Майя, моя жена, в связи с прошлой принадлежностью к советской элите вообще больше двадцати лет провела за рулем, но мы – нетипичная пара; большинство прибывших машин не знают, руль держать в руках не умеют, и бесконечно текущие автомобильные реки Америки их ошеломляют.

В Лос-Анджелесе нам по приезде рассказали историю о том, как один русский парень купил большущий «Форд ЛТД» 1971 года выпуска, с грехом пополам научился нажимать педали, выехал на фрифрей Санта-Моника и... пропал. Боясь перейти со своей полосы движения на другую, не зная слова exit [Выход, съезд с дороги.], да и вообще не умея читать по-английски, он катил в глубь Калифорнии до тех пор, пока не кончился бензин в баке. Так он оказался в маленьком калифорнийском городке, где последовательно: нашел работу, научился английскому, женился, купил дом, разбогател. Сейчас он подвизается на почве купли-продажи недвижимости и лихо пилотирует «BMW».

К числу непреодолимых и почти неоспоримых очарований относится природная красота Америки. Разнообразие и сохранность этих красот до сих пор еще нас поражают. Осенние холмы Вирджинии, Кентукки, Теннесси, береговая линия Флориды с деловито пролетающими пеликанами и застывшими в таинственном жеманстве цаплями, зеленые склоны Вермонта, напоминающие то Грузию, то Карпаты, огромные уступы Скалистых гор, секвойи Калифорнии, ее необозримые пляжи, миражные горизонты Аризоны, да и плоскость Канзаса – все это наполняет ощущением Большой Благодати.

Мы дважды пересекли страну на машине, и всякий раз, когда перед нами открывались новые дали, мы вспоминали американских пионеров, для которых продвижение в глубь континента было сродни открытию новой планеты. Это ощущение новой планеты, как ни странно, еще живо на просторах Америки.

Поражает малозаселенность материка, даже его восточной части. Северная Пенсильвания, где на протяжении пятидесяти миль мы не увидели ни одного дома, напомнила нам Сибирь. Берусь утверждать, что Америка меньше заселена и уж гораздо меньше загрязнена, чем Россия в ее европейской, кавказской, среднеазиатской и южносибирской частях. О Северной Сибири говорить нечего, там, можно сказать, и нет никого, но вот Украина (однажды я пересек ее с юго-востока на северо-запад на машине) загрязнена тяжелой индустрией, химией, продымлена бесчисленными грузовиками так, как не снилось в дурных снах ни Мичигану, ни Массачусетсу.

К очарованию американского пейзажа относится и открытость американских границ. Боюсь, что американцу этого не понять, но советский человек наполняется особым чувством, когда, глядя на горизонт, понимает, что за ним во все стороны открытое пространство, никто тебя не сторожит, можешь идти на все четыре стороны.

Закрытость, непроницаемость государственных границ тоже сообщает пейзажу особую краску, но это уже из другой оперы; русская классика вне темы этой книги.

Говоря о великом обществе, подобном американскому, трудно оперировать обобщениями. Только обобщишь что-нибудь, как тут же сядешь в лужу. Любое обобщение только на первых порах напоминает красиво сшитую подушку. Не успеешь подsunуть ее себе под голову, как начинают выпирать углы, сыпаться какая-то труха, высовываются то нос, то хвост противоречий.

И все-таки можно сказать об американском населении, что оно очень приветливо. В России преобладают сумрачные лица, что неудивительно. В Америке до сих пор царит улыбка. Если человек не улыбается, его могут спросить: «What's wrong?» [Что-то случилось?] Иные мизантропы утверждают, что американская улыбка формальна. В этих случаях

мне вспоминается, как моя мать однажды сказала в ответ на подобное же утверждение в адрес французов: «Лучше формальная любезность, чем искреннее хамство».

Рискуя опять же впасть в сомнительные обобщения, скажу, однако, что американцы любезнее французов. Во всяком случае, по отношению к чужакам. В Париже однажды (впрочем, в плохом районе) буфетчик начал передразнивать мой ломаный французский, причем в такой отвратной манере, что пришлось обложить его русским матом. Между прочим, подействовало – извинился.

В Америке такое просто немыслимо. Иностранный акцент никогда не вызывает здесь раздражения, но только лишь желание понять. Ну, скажет скептик, это вовсе не от добрых свойств характера идет, а просто от специфики – ведь все происходит от приезжих, и в недалеком поколении. Так или иначе, но новоприбывших это подкупает и очаровывает.

Как-то раз я расплачивался кредитной карточкой в большом магазине. Продавец заинтересовался: «Польское имя, сэр?» – «Ов» – это русское окончание, – сказал я. – Для поляков типичнее «ский». Продавец и трое его коллег вежливо удивились – надо же, какие на свете бывают имена!

«А вы кто будете?» – спросил я своего продавца. «Я – Густаве Салазар», – сказал он. «На испанца вы не похожи», – сказал я, имея в виду его раскосые глаза. «Я – филиппинец, с вашего разрешения», – сказал он.

Коллеги его оказались – один иранец, вторая – из Тобаго, третий, наконец, урожденный американец сицилийского происхождения. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись.

Так мы здесь и живем, беженцы со всего мира. Один от голода драпанул, другой – от пули, третий – от литературной редактур. Этническая пестрота Америки не имеет равных в мире. Мы к ней привыкли. Иной раз даже в Европе кривили нос – экая, мол, здесь этническая монотонность. Очень важно ощущать, что ты прибил к этим берегам не один, что вас много, что вы – комьюнити [Community – сообщество, община.], еще важнее чувствовать, что местные люди не ворчат в ваш адрес «проклятые иностранцы, мы вас тут всех кормим».

У Америки есть много недостатков (иногда они вдруг оборачиваются достоинствами), есть и достоинства (иной раз они кажутся вздором), но в целом эта страна от ксенофобии отдалена больше, чем любая другая, в целом она все еще ревностно придерживается своей традиции давать приют и защиту изгнанникам и беженцам всего мира.

Это ли не очарование – прибывший после разного рода мук потный и суматошный беженец оказывается в обществе приветливых, умеренно благожелательных, физически весьма здоровых и чистых людей. Стирка и чистка – национальные «перпетуум мобиле»; джоггинг и аэробика придают любому американскому городу сходство с тренировочным лагерем. Нация красивых, отменно стройных... У-упс, опять расплзается подушка обобщений, потому что нигде, пожалуй, не увидишь такого количества ожиревшей молодежи, но об этом ни слова в этой подглавке.

Иные скажут, что в тренировочной одержимости американцев сказывается их прагматизм, заземленность, гедонизм, нарциссизм и т. д.; я не исключу в этой страсти и религиозного начала: тело – транспортное средство души.

Очаровывает, вернее, просто восхищает отсутствие у американцев брезгливости к ущербному телу. Забота о калеках – уникальное свойство нации.

В этом же ряду восхитительной и очень земной религиозности я вижу и отношение к старикам. Чудесно уже и то, что их называют «сеньор ситизен» [Senior citizen – почтенный, уважаемый гражданин, пенсионер.]. Яркость старческих одежд, все эти знаменитые клетчатые штаны и шляпки с цветочками, то, что европейцы полагают американской безвкусицей, может быть, тоже имеет религиозно-ренессансное значение.

Как-то в Сиэтле мы наблюдали бал стариков. Они танцевали фокстроты и джиттербаги и явно наслаждались жизнью. Вспомнилась очередь в ленинградском магазине молочных

продуктов. На бабушку, пытавшуюся взять без очереди бутылку молока, тетки помоложе стали орать: «Тебе на кладбище пора, бабка, а ты по магазинам ходишь!»

О Господи, барахтаясь в обобщениях, как бы нам избежать параллелей хотя бы такого рода.

Церкви всех существующих на земле религий – вот грандиозное американское очарование. Основная масса прибывших из СССР людей вследствие советского воспитания оказалась полностью нерелигиозной. С усмешкой старомодного позитивизма они смотрят, как по молебственным дням заполняются синагоги, мечети, соборы. Потом они начинают задавать себе вопросы – быть может, на религии здесь все и стоит?

Позитивисты настаивают: это вздор! Все здесь, господа, держится на экономике, на бизнесе, на долларе.

Не вдаваясь в этот спор, отмечу нечто, имеющее отношение к духовному и к материальному. Американское общество, сдаётся мне, построено на принципе благотворного неравенства. «Реакционность» моя зашла уж так далеко, что я пою хвалу неравенству!

Обратите внимание, социалистические начинания в этой стране очень быстро приводят к загниванию. Они противоречат основной американской идее романтического неравенства. В неравенстве всегда динамика, страсть, в равенстве отсутствие надежды на изменение жизни.

В Советском Союзе в своей сфере ты обречен влачить жизнь государственного служащего, и, если ты не вор, ничего никогда в твоей жизни не изменится, ибо все равны (за исключением, разумеется, тех, кто равнее равных). В Америке, в обществе неравенства, в хаосе экономической свободы где-то ждет тебя твой шанс. Пусть ты его не поймашь никогда, но его присутствие всю жизнь твою окрашивает иначе.

– Взгляните, – говорит эмигрант, – раньше я жил в городе Ворошиловграде в Ленинском районе на улице Дзержинского – какая безнадежность. А сейчас, взгляните, я живу на Земле Мэри, у Серебряного Ручья, по улице Сад Роз – какие паруса!

Штрихи к роману «Грустный бэби»

1980

– Good morning!

Она не отвечает. Бернадетта Люкс, сногсшибательная баба на двести фунтов (плюс фунт презрения), полдня щеголяющая в бигуди и кружевном пеньюаре. С ее данными ей бы воплощать вековечный советский идеал Матери-героини, но она управляет кондоминиумом «Пацифистские палисады».

Отчего же такая суровость и неподвижность в мой адрес, удивлялся ГМР. «Good morning», – говорю я ей в лифте или в лобби. Молчание. Повторяю приветствие. Ноль внимания.

Наплевать, конечно, но все-таки всякий раз при виде героической женской фигуры, либо статично просвечивающей сквозь пеньюар, либо возбуждающей волнообразное, в стиле соцреализма, движение тканей, становится чуть-чуть тошновато.

Однажды решил попробовать новшество, соединив два братских земных наречия:

– Good morning, Жопа-Новый-год!

Бернадетта Люкс в ответ на этот тип приветствия неожиданно расплывается: «Доброе утро, сэр! Приятная погодка сегодня, не так ли? Не угодно ли жменю жевательного табачку-с?» Вот что значит неформальный подход, даже и на незнакомом языке.

Кто таков наш Her Majesty Navy и как он оказался в Америке? Сделаем его писателем, господи? ГМР – русский писатель в изгнании. Бр-р, а не получится ли, господи, что мы как бы пишем сами о себе, а ведь мы никогда не были такими гордецами и зазнайками...

Пусть он будет театральным режиссером, о'кей? Недурной ход – вроде бы и не писатель получается, а? В СССР он был страшно известным, а в Америке его никто не знает. Гордец, никому не навязывается. Обидев ранее немало женщин, сейчас живет в одиночестве. Работает аттендантом [Attendant – дежурный, служитель, *здесь* – сторож на автостоянке.] в «Колониал паркинг». Скопив несколько сотен на чаевых, отправляется на Гавайи.

...Только бы не подумали, что мы отождествляем этого пятидесятилетнего мужика с образом «грустного бэби». Хорош бэби – с плешью и с этой вечной миной сарказма.

Может быть, все-таки взять героя помоложе? Пятидесятилетние мужики основательно надоедают окружающим. Еще в Союзе (типично эмигрантское «еще в Союзе») он заметил вдруг, что здорово всем надоел. Надоело все, что относилось к нему, без исключения – и его примелькавшаяся в «творческих кругах» фигура, и его дерзкие постановки, не говоря уже о «творческих замыслах», «безукоризненном вкусе», «профессионализме высшей пробы»... Надоел, и все!

Однако, если мы сделаем героя помоложе, наша хронология тогда не сойдется, испарится и тема «грустного бэби», дребезжащее пианино. Придется ему остаться пятидесятилетним, хотя и стыдно в этом возрасте работать аттендантом на автостоянке возле ресторана «Эль Греко».

Мерзейшая ирония заключалась в том, что ресторан гордился датой своего основания – 1955, – когда ГМР уже служил в советской морской пехоте, тренируемой для высадки на американском побережье именно в этом месте.

1955

Кронштадт. Урок штыкового боя в морском экипаже.

*Учитесь штыковому бою!
Втыкайте, пацаны!
От русского штычка завоюют
Империалисты-сатаны!
Америка, наш враг коварный,
Весьма, товарищи, богат,
Хотя койфициент товарный
У ей захапал плутократ.*

*Куда ты тычешь штык, Петруша?
Ведь Джек высок и знает бокс!
Ты тычь его пониже, в грушу!
Вот это будет самый сок!
За океаном не в почете
Марксизм, наука всех наук.
Борцы за мир все на учете,
А ЦРУ – большой паук!*

*Чем глубже ткнешь ты на ученье,
Тем веселей тебе в бою!*

...

*В морской пехоте развлечение
Один лишь мат. Етиттвою!*

1980

В ночной лавке на Вествуд-бульваре можно купить майку с изображением Ленина. Трюк заключается в том, что вождь и сам изображен в майке с надписью KAZAN UNIVERSITY. Вновь, как зубная боль, возникает вопрос – почему юноша выпал из своей alma mater? Спросите об этом у продавца маек. Он подмигнет:

– Мы тут, сэр, пока что начинающие.

Глава третья

Итак, мы отправились на Запад, то есть со Среднего Запада на Дальний, из Анн-Арбора, Мичиган, в Лос-Анджелес, Калифорния. Дело было в январе.

Незадолго до отъезда мы совершили наш первый американский патриотический поступок. Речь шла о покупке колес. Выбор стоял между «Вольво» и «Омегой». Первая была мечтой всех московских жуликов, а потому и нам была известна. О второй никакими сведениями мы не располагали, за исключением того, что она принадлежит к семейству «Олдсмобилей» и сколочена компанией «Дженерал моторс» в черный год американской автоиндустрии 1980-й (вперед на 1981-й) по европейскому стандарту, то есть не в виде огромного крокодила.

«Надо поддержать американскую промышленность, – сказал я Майе, – ты же видишь – она задыхается». «Странное соображение, – сказала она. – Ты думаешь, что покупка одной „Омеги“ что-нибудь здесь изменит?»

По телевизору каждый день рассказывали об огромных увольнениях, о кризисе компании «Крайслер», об ужасных убытках.

«Наша „Омега“ может оказаться решающей каплей, – сказал я. – С падением этой капли система качнется в другую сторону, и начнется медленное выздоровление».

Так и получилось, между прочим. Мы вошли в магазин «Олдсмобил дилершип», выписали изумленному торговцу чек на полную стоимость (о мортгейджах [Mortgage – первый взнос, рассрочка.] мы тогда и понятия не имели) и сели в милое авто. Я до сих пор уверен, что наша «капля» (четыrehдверный шестицилиндровый автоматик) оказалась решающей, и никто меня в этом не разубедит.

Мичиганская зима мало чем отличается от русской; странно, что в этом штате до сих пор не построили коммунизм. Не для того мы эмигрировали, в конце концов, чтобы барахтаться в снегу. Решено было бежать порезвее к югу – Иллинойс, Миссури, Канзас, Оклахома, Техас – и пробираться дальше самым южным путем через Нью-Мексико и Аризону, вдоль государственной южной границы с единственной целью – обойти стороной снега в горах.

Ну вот, мы едем через Америку. В «Омегу» вместились все, чем мы здесь располагаем, включая и недвижимость – рукопись неоконченного романа «Скажи „изюм“». Сколько раз уже описана по-русски эта дорога! Еще в 1936 году Илья Ильф и Евгений Петров пересекали США в маленьком сером „фордике“. Уже тогда существовали эти тысячемильные бетонные линии с двухполосным односторонним движением в обе стороны, бензозаправки, где протирают стекла машины, шкафы с холодными напитками, мотели и кафе. В России же и тогда автомобильных дорог не было, да и сейчас ее дороги в контекст цивилизации еще не вписываются.

Советскому читателю, если таковой у этой книги когда-нибудь найдется, могу предложить к списку чудес, описанных Ильфом и Петровым, еще одно – поджопное бумажное полотенце. В кабинках задумчивости на канзасских зонах отдыха я это диво встретил впервые – экий декаданс! В добавление к пипифаксу проезжающим предлагается лист с перфорацией в форме груши. Невольно вспомнишь станцию Зеленый Гай на Днепропетровщине по дороге к волшебному Крыму, где водители грузовиков вольготно располагаются «орлами» вокруг заколоченного в прошлую пятилетку сортира.

На юге штата Иллинойс снега кончились, и больше мы их в ту зиму не видели. Надо сказать, что никаких особенных сентиментальных чувств к этому виду осадков мы и не испытывали. Снег в его эстетическом чистом виде существует за всю зиму в Москве каких-нибудь несколько дней, все остальные шесть месяцев это снег-уродина, свалявшийся, грязный, надоевший, как вся советская власть.

Едем, едем, едем... ровное движение впереди, по бокам от нас, позади, навстречу. Мы меняемся за рулем. Майя жалуется: «Меня усыпляет это вождение». – «Ну и спи! Посмотри, все вокруг давно спят».

Очень скоро мы стали знатоками мотелей. Набоковского «Приюта зачарованных охотников» в пути не попалось, зато мы по достоинству оценили и «Говарда Джонсона», и «Вестерн», и «Холидей инн», и «Рамада». Мы даже спорили об их достоинствах. Майя почему-то отдавала предпочтение «Джонсону» – дескать, там и завтраки лучше, и в телевизоре больше программ, и вот еще то-то и то-то. Я почему-то держался «Холидей инн», уверяя, что эта фирма бьет все рекорды. Случай подвернулся, чтобы доказать упрямому приверженцу «Г. Джонсона» свою правоту. На окраине Сент-Луиса мы остановились в шикарнейшем «Холидей инн». Окна номеров выходили в гигантский закрытый патио с искусственным светом, где журчали фонтаны и низвергались водопады, где по романтическим мостикам путешественники могли прямо от огромного бассейна перейти к внушительной аркаде видеоигр. Принюхиваясь к запаху хлорки и прислушиваясь к посвистыванию электронных жучков, мы уже больше не спорили: Майя молча признала поражение, я благородно молчал.

Границу Техаса мы пересекли ночью, не заметив ее, и остановились в городе Сладководске (как еще иначе переведешь Sweetwater-city), в мотеле «Говард Джонсон». Утром мы вышли к завтраку, не подозревая, что мы в Техасе. Подавальщица притащила нам «наши яйца» плюс целую поленницу бекона плюс блинчики с джемом, по куску арбуза и грейпфрутовый сок. В салат-баре мы отоварились еще овощами. Майя ничего не сказала, только лишь со скромным торжеством озидала стол: таков, мол, мой старый «Говард».

«Посмотри лучше вокруг, – сказал я. – Какая отменная здесь собралась публика. Того и гляди, начнут сейчас стрелять в пианиста или за неимением такового – в проезжего русского писателя».

Вокруг нас сидели настоящие персонажи вестернов – краснолицые, голубоглазые, в огромных шляпах, кожаных жилетках и сапогах на высоком каблуке – техасцы.

Нынче, всяческими способами убегая от клише, мы иногда удивляемся, как точно некоторые явления им соответствуют. Вот ведь при слове «техасцы» именно такая картина возникает в воображении, но, когда ее видишь воочию, поражаешься – могут ли так совпадать реальные люди (в данном случае в основном водители грузовиков) с образцами кино?

Подавальщица вдруг спросила нас:

– Интересно, фолкс [Folks – здесь – братва, братцы.], на каком это таком языке вы между собой разговариваете?

– А вы как думаете, что это за язык? – спросил я в ответ.

– Звучит как немецкий, – сказала она.

– Нет, это русский, – сказал я.

– Вот я и слышу, что-то похожее на русский или на немецкий, – сказала она.

– Однако это совершенно разные языки, – сказал я. – Немецкий и русский не похожи друг на друга.

– В самом деле? – искренне удивилась она. – Вы, стало быть, русские из Германии?

– Нет, мы из России.

– Немцы из России?

Для этой средних лет техасской дамы русские и немцы были соединены какими-то нерасторжимыми связями. В двух словах мы объяснили ей противоречивость немецко-русских связей, историческое преобладание византийской над готической культурой (или наоборот) и подчеркнули, что, несмотря на изобретение немцами крана к русскому самовару, в России до сих пор бытует поговорка «что русскому хорошо, то немцу плохо»...

В замешательстве покачивая головою, она отошла к ковбоям и, как бы убирая что-то со стола, рассказала им, какие странные в мотеле оказались постояльцы – из России, но не немцы.

Ковбои пошевеливали большими плечами, иногда чуть поворачивали головы, чтобы глянуть на нас, однако, столкнувшись с нашими взглядами, деликатно отводили глаза, как бы интересуясь лишь погодой за окном.

Тут подавальщица снова приблизилась, лицо ее выглядело озабоченным.

– У нас тут, оказывается, в газетах много пишут о России, и все какие-нибудь гадости. Наверное, врут?

– Увы, не врут, – сказали мы.

– Вот ребята говорят, фолкс, будто в России такое правительство, которое не позволяет книжки писать какие хочешь. Это тоже правда?

Я даже подскочил – вот так вопрос в городе Сладководске! Может быть, кто-то из них видел мой портрет в «Вашингтон пост» или в «Нью-Йорк таймс» и узнал? Но это просто немыслимо – пара-другая снимков, промелькнувших в потоке тысяч и тысяч?.. Так или иначе, но вопрос оказался более чем по существу.

– Увы, мэм, это тоже правда. Я как раз являюсь писателем, и именно за сочинение неугодных книг меня выгнали из моей страны. Именно поэтому мы и оказались здесь, мэм!

Подавальщица из Сладководска вдруг широко раскрыла руки и сказала с такой теплотой, которую и сейчас, четыре года спустя, я вспоминаю как одно из лучших американских очарований:

– You are welcome to America! [Добро пожаловать в Америку!]

Ковбои сдержанно улыбались.

День, когда я потерял гражданство

Последний день этого путешествия стал довольно важной вехой в моей биографии: 21 января 1981 года после захода солнца я узнал, что не являюсь больше гражданином СССР.

Проснулся я в тот день еще гражданином СССР в мотеле города Юма, что на стыке границ Аризоны, Калифорнии и Мексиканских Штатов. С достоинством, как и предписывает инструкция Управления виз Моссовета, пронес высокое звание гражданина Страны Советов в столовую. После завтрака мы взяли старт на Лос-Анджелес, куда рассчитывали прибыть к вечеру.

Аризонская пустыня сменилась калифорнийской, которая в этих местах лежит ниже уровня моря. Горизонт еще больше раздвинулся. Пески и кактусы по обе стороны прямого, как линейка, хайвея. «Омега» что-то сильно разошлась, обгоняла чуть ли не все попутные машины. При обгоне очередной я увидел рыжие усы патрульного офицера. Положив локоть на борт, он внимательно и серьезно смотрел на меня. Потом привычным движением поставил себе на крышу пульсирующий красный фонарь. Несколько секунд я еще делал вид, что не понимаю, что это значит, что ко мне это вроде не очень-то относится, потом пошел к обочине. Патрульный «кар» встал сзади. Мы вылезли из машины – я и стройный офицер в униформе цвета хаки с пистолетом на боку. В ярком пустынном небе над нами, словно наши alter ego, парили два орла.

Я подумал: сейчас начнется цирк! У меня нет ни одного американского документа. Как оказался советский гражданин посреди калифорнийской пустыни рядом с мексиканской границей? Если бы американца изловили в Туркмении, в двух шагах от Ирана, подняли бы по тревоге весь КГБ. Представляю себе реакцию патрульного на советский паспорт, а потом и на еще большее чудо – советские водительские права! Как все это ему объяснить? Не рас-

сказывать же, в самом деле, историю романа «Ожог» и независимого альманаха «Метрополь». Пока что попробую придуриваться, как в России делал в подобных обстоятельствах.

– Скорость? – спросил я.

Патрульный кивнул. Я начал хныкать в той манере, которую выработал в общении с московскими гаишниками:

– Клянусь, офицер, я всегда вожу в рамках правил. Вот только тут... знаете ли... в пустыне...

– Да, здесь трудно держать лимит, – согласился он.

Я обрадовался: кажется, клюет! Согласно московскому опыту, нужно выделить его участок как особый, ни на что не похожий, исключительно опасный и важный – такова психологическая задача. В случае успеха офицеру и мои исключительные советские обстоятельства не покажутся столь уж подозрительными.

– Впервые еду через пустыню! – воскликнул я. – Удивительное ощущение! Сам не замечаешь, как скорость поднимается до шестидесяти пяти миль в час!

– До семидесяти пяти миль в час, – сухо поправил он, посмотрел на номерной знак и пробурчал: – Ага, Мичиган...

Что это значит? Может быть, с Мичиганом тут у них особые счеты? Может быть, здесь мичиганцам круче приходится, чем советским? Так или иначе, нужно раскрывать национальную принадлежность. Ведь не может же его не насторожить мой акцент!

– Вообще-то мы из России, офицер, из Советского Союза... Это особая история...

– Ваше имя, сэр, – прервал он меня.

Я сказал и добавил вполне нелепо:

– Это, понимаете ли, русское имя. Мы здесь оказались при необычных обстоятельствах...

– Как спеллингуете свое имя?

В ровном тоне патрульного мелькнула легкая досада. Очевидно, мои «обстоятельства» мешали ему осуществлять закон.

Я заученно протараторил свое имя по буквам. О, эти американские спеллинги, сколько эмигрантских языков вывихнуто было на них! Офицер на минуту отвлекся от своей записи:

– Значит, из России приехали, сэр?

– Да, мы из Советского Союза, но мы оказались здесь в силу совершенно особых, исключительных обстоятельств, которые я мог бы объяснить, если бы...

– А вы знаете лимит скорости в Америке? – снова прервал он меня.

– Пятьдесят пять миль в час.

– Вот именно, – сказал он. – Водительскую лицензию, пожалуйста.

Я уныло полез за своей издавшей виды «корочкой». Необычный вид документа наверняка возмутит патрульного, ведь советские права отличаются от американских не менее разительно, чем «Правда» от «Нью-Йорк таймс». Наверняка он признает мои права недействительными.

– У меня еще советская лицензия, – мямлил я, – однако если учесть особые обстоятельства, о которых я упоминал выше, то при известной снисходительности...

Он невозмутимо рассмотрел мои права и, не задав никаких вопросов, записал семизначный номер. Я присел на горячий капот его «Шевроле». Неясное ощущение судьбы витало в воздухе пустыни. Рыжий молодчик, похожий на киногероя, которому абсолютно наплевать на мои советские «обстоятельства», осуществляет американский закон об ограничении скорости. Многозначительное парение двух орлов над нашими головами.

– А вот в СССР нет ограничения скорости, – зачем-то соврал я, хотя уже и понимал, с каким бесстрастным центурионом имею дело.

Тут вдруг патрульный сильно обиделся, оторвался от бумаги и посмотрел на меня выцветшими голубыми глазами.

– Вы ведь сейчас не в России, сэр, правда? Вы сейчас в Америке, так? А у нас здесь скорость ограничена, о'кей?

Точно так же когда-то на меня ворчал киевский милиционер: «Здесь вам не Москва... тут Киев, понятно?... Здесь работают киевские правила, так?»

– Оштрафуете меня? – спросил я.

– Не я вас оштрафую, а суд вас оштрафует. – Он протянул мне копию бумаги. – Так и быть, поставил вам шестьдесят пять вместо семидесяти пяти. Поосторожнее в дальнейшем. Всего хорошего!

Он отвернулся, потеряв ко мне малейший интерес, и до меня наконец дошло, что я для него вовсе не подозрительный иностранец, а просто нарушитель скоростного режима, то есть человек как человек.

Есть некоторая все-таки странность в том, что этот знаменательный для меня день начался с волнений по поводу моего сомнительного гражданства и ненадежных водительских прав. Продвигаясь дальше к Тихому океану, я думал о том, что теперь надо ждать еще какой-нибудь гадости (закон парности) и что вторая гадость будет в том же роде, то есть связанная с бумагами, с какими-нибудь провалами, с недостатком каких-нибудь прав или с полным их отсутствием; ведь не с избытком же прав, этого сейчас нигде не допросишься.

К вечеру мы достигли гостеприимного дома в Санта-Монике, и хозяин после первых же приветствий сказал:

– Тебя весь день разыскивают журналисты. Прошу прощения, но указом Президиума Верховного Совета СССР ты лишен советского гражданства.

После ужина мы пошли на мой любимый еще с 1975 года Океанский бульвар и остановились там в молчании под королевскими пальмами. Внизу, под обрывом, катились огни прибрежного шоссе.

Почему госмужики СССР так поступили со мной? Неужто сочинения мои так уж сильно им досадили? Разве я на власть их покушался? Пусть обожрутся они своей властью.

Я подумал о друзьях в Москве. Сегодня они услышали эту новость по «Голосу Америки» или по Би-би-си – какая реакция? Старинный друг мой, внутренний эмигрант Фил Фофанофф, которого в Москве называют помесью Печорина с Обломовым, вероятно, утешил бы меня таким образом:

– Не фетишизирую красную картонку с плотной розовой бумагой внутри, ничего священного и символического в этой дряни нет, простое «средство полицейского контроля», согласно словарю Брокгауза и Ефрона. Бедняга Маяковский, которому очень хотелось еще раз в Париж, пропел серенаду советскому паспорту, а между тем сам сознался, что носит ее в штанах: «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза»... Разве нечто любимое, священное, гордое носят в штанах по соседству с гениталиями?

Так, вероятно, упражнялся бы в остроумии московский шутник Фил Фофанофф. А все-таки идеологические дядьки-аппаратчики не только ведь книжечки говененькой меня лишили. Это они в своих финских банях постановили родины меня лишить. Лишить меня сорока восьми моих лет, прожитых в России, «казанского сиротства» при живых, загнанных в лагеря родителей, свирепых ночей Магадана, державного течения Невы, московского снега, завывающегося в спираль на Манежной, друзей и читателей, хоть и высосанных идеологической сволочью, но сохранивших к ней презренье.

«Дружище, – сказал бы устало Фил Фофанофф, – фактически они нас всех давно уже лишили советского гражданства, потому что его просто не существует. Здесь нет граждан-

ства, а есть подчинение. Честь мы бережем не для гражданства, а для родины». Иногда он может шутить и таким образом.

В темном небе тактично гудел «джет», возвращающийся из Японии. Шелестела ветками огромная пальма. Пахло своими плодами лимонное дерево. Рождалась новая луна. Калифорнийской ночи было наплевать на мое советское гражданство не в меньшей мере, чем патрульному на интерстейт ь 8.

Возвращаясь к хозяйскому дому, мы увидели, что он полон людей. Оказалось, что многие старые друзья из Калифорнийского университета, где я в 1975 году на семинаре красноречивыми недомолвками подчеркивал свою принадлежность к Совдепу, приехали нас приветствовать. За шесть лет, что прошли после моего месячного визита в 1975-м, они совсем не изменились, и немудрено – Калифорния, в ней не только кинозвезды консервируются, но и профессора университетов.

Законсервировались мои друзья и в своих так называемых левых взглядах. Для советских делишек у них в лучшем случае припасена ироническая улыбочка, нападать на СССР не очень-то рекомендуется, иначе ведь и не заметишь, как примкнешь к правым.

В разгар шумной и спонтанной, вполне в русском стиле, вечеринки из Нью-Йорка позвонил Крэг Уитни, бывший московский корреспондент, а в тот момент заведующий иностранным отделом «Нью-Йорк таймс». Он хотел узнать, как я себя чувствую после лишения советского гражданства, есть ли у меня эмоции в адрес советской власти. «Пошли бы они все к черту!» – заорал я. Крэг захохотал, и в утреннем выпуске «Нью-Йорк таймс» появилось:

Having been informed about the Soviet government's decision Aksyonov said: To hell with them!

Окончив этот разговор, я вернулся в гостиную и обнаружил там основательную ссору. Русские интеллектуалы ругались с американскими интеллектуалами, причем речь шла даже не о России, а об американских заложниках в Тегеране, которые в это время были освобождены и направлялись домой.

– Теперь все это будет превращено в националистическое шоу, устроят огромный шовинистический шабаш, – говорили американские друзья.

– Ваши дипломаты были захвачены бандитами, – кипятились русские друзья. – Нарушены были все международные нормы!

– Во время революций всегда бывают эксцессы, – отвергали этот аргумент американцы. – Посольство и в самом деле занималось шпионажем.

– Все посольства занимаются шпионажем, разве дело в этом? – взывали русские. – Неужели вы не понимаете, что Америка противостоит тоталитаризму, что это последняя крепость свободного мира, что любое унижение Америки идет на пользу коммунизму?..

– Вы говорите, как наши «ред нек» [Red neck – деревенщина, тупица.], – возражали американцы. – Как наши крайние правые, реакционные люди.

– А вы, – парировали русские, – говорите, как либеральные олухи, пораженцы, вы не понимаете, с кем имеете дело. Опомнитесь в советском концлагере, господа!

Тут один из американских друзей не выдержал и слегка позеленел, что бросилось всем в глаза, потому что прежде во время таких споров он только розовел.

– Мои предки, – кричал он не своим голосом, – приплыли в эту страну четыреста лет назад!.. (Тут все быстро в уме пересчитали, могло ли такое случиться, и выходило, что почти могло.) Мы... (далее следовало имя, содержащее и «th» и «gh») здесь живем из поколения в поколение, а тут приезжают всякие из стран, не знавших даже запаха свободы, и берутся нас учить, как защищать демократию!..

Тут он смутился, все краски на лице смешались, и стал извиняться за свою вспышку: он вовсе никого не хотел оскорбить, просто и в самом деле немного нелепо получается.

Нелепость некоторая, увы, налицо. В Советском Союзе мы считались левыми, смутьянами, ненадежными элементами, а нам противостояли несметные полчища правых, официальных коммунистических пропагандистов и аппаратчиков. В Америке же мы с нашим антикоммунизмом оказались ближе к правым. Левая, правая где сторона? Улица, улица, ты, брат, пьяна...

Сено и солома

Однажды, уже в Вашингтоне, прогуливая в садике на Коламбия-роуд своего щенка Ушика, я познакомился с хозяйкой сенбернара Джулией – дамой, приятной во всех отношениях. Она жила неподалеку, на одной из маленьких улиц, пересекающих Коннектикут-авеню. С того дня мы встречались нередко, наши собаки стали друзьями, и в конце концов Джулия пригласила нас с Майей на ужин.

Мы пришли в ее элегантную квартиру и нашли там весьма симпатичное общество, персон эдак около пятнадцати. Старшим там был муж Джулии, красавец с седыми кудрями и плавными движениями. Если бы не рокошущая американская речь, его можно было бы отнести к известному российскому типу адвоката-краснобая. Кстати, он и оказался адвокатом, как потом выяснилось. Гости были моложе хозяина дома, нам почему-то показалось, что это в основном друзья Джулии по университету, хотя мы и понятия не имели, училась ли она когда-нибудь в университете. В общем, это был народ от тридцати пяти до сорока, красивый, одетый небрежно, лица неординарные, жесты свободные, однако без киношного нахальства. В общем, они были похожи на людей нашего круга в Москве, если исключить из него заведомых стукачей.

Очевидно, они давно не видели друг друга. Каждого новоприбывшего встречали веселыми восклицаниями. Разговор (поначалу за коктейлями) шел довольно сумбурный и внутренний, нас он мало касался – что-то о переменах в работе, в жилье, в семьях, все как будто принадлежали к тому типу, что нынче называют «яппи» [От YP – young professionals – интеллектуальная молодежь].

Потом вдруг стала мелькать тема Сальвадора. Кто-то из них, оказывается, там недавно побывал, делал какое-то исследование для какой-то частной организации. Вот, кажется, повод вставить пару слов, чтобы не сидеть тут чучелом в качестве «хозяина друга нашей собаки».

«Сальвадор, – сказал я глубокомысленно, – это очень серьезно».

Все со мной охотно согласилось.

«Очень уж близко к дому», – углубил я свою мысль.

Все вновь с энтузиазмом поддержали меня. Сальвадорская тема разгорелась. «Близко, очень близко, слишком близко уж к нашему дому...» – говорили гости, как вдруг я заметил, что они совсем не то, что я, имею в виду. Я-то имел в виду, что вот-вот еще одно тоталитарное марксистское государство возникнет на этот раз слишком близко к американскому дому, а они, гости Джулии, вели речь о том, что Пентагон и ЦРУ втягивают страну в «новый Вьетнам», на этот раз слишком близко к американскому дому.

Дальше – больше. Мы вовлекались в разговор, и раз за разом наши ремарки оказывались по меньшей мере неуместными в этой компании. Кто-то из присутствующих, например, упомянул имя сенатора К., а меня будто кто за язык потянул. «Третьего дня, – говорю, – этот К. напугал меня до смерти».

Несколько человек повернулось ко мне: как так?

– Да вот, – говорю, – проснулся утром, включил телевизор и сразу увидел сенатора К., и первая фраза, которую он произнес, то есть первая фраза, которую я услышал в то утро, звучала так: «Если я стану президентом США, первое, что я сделаю, позвоню Юрию Андропову!» Согласитесь, господа, можно перепугаться.

– А почему же? – недоуменно спросил близко сидевший ко мне молодой почти красавец в рубашке с галстуком и в ковбойских сапожках.

– Ну ведь это все равно, господа, что услышать, будто кто-то собирается звонить Берии, – сказал я.

– Что же, вы против переговоров, что ли? – спросила подруга почти красавца, совершеннейшая красавица.

– Нет-нет, простите, я вовсе не имел в виду никаких переговоров, я просто хотел сказать, что вот это желание позвонить Андропову не относится к числу тех эмоций, с которыми хочется начинать день.

Те из гостей, что услышали этот разговор, переглянулись. «Кто этот человек с таким неопределенным акцентом?» – говорили их взгляды.

– Простите, сэр, мы здесь все друг друга знаем, – сказал почти красавец, – а вот вас видим впервые. Откуда вы?

– Из Советского Союза, – сказал я, и тут уже чуть ли не вся гостиная повернулась ко мне с неподдельным интересом.

Далее последовал разговор с нарастающим количеством вопросительных знаков.

– Как вы очутились здесь?

– Меня выгнали из Советского Союза.

– Выгнали из Советского Союза?? За что???

– Ну, понимаете, я писатель...

– Писатель, которого выгнали из Советского Союза??? За что???? On Earth??? [*Здесь* – За какие же грехи?]

– За книги.

– ???????

Тут вдруг поток вопросительных знаков иссяк; не пошел на убыль, а просто оборвался. Тема изгнания писателя из СССР «за книги» больше не развивалась, и на протяжении всего ужина мне об этом больше не задали ни одного вопроса.

Я начинал догадываться, что мы оказались в обществе самых что ни на есть левых. Джулия во время наших прогулок в обществе взрослого сенбернара и щенка-спаниеля, видимо, как-то неправильно меня вычислила, почему-то решила, что я принадлежу к «их кругу».

Интересно, догадалась ли Майя? Я оглядел комнату и увидел ее в дальнем конце. Разгоряченная, она что-то доказывала хозяину, а тот как-то от ее доводов обмяк, седые кудри замочалились. Красивой ладонью он как бы пытался размешать густоту Майиных аргументов.

– ...Однако вы же не будете отрицать, что он выдающаяся личность, – услышал я.

– Он выдающийся подонок! – атаковала Майя. – Я там была и видела, как они, эти вожди, там живут, в какой роскоши посреди пустоты, я и его самого видела – наглый тиран!

– Они там ликвидировали проституцию, безграмотность, всем дали жилье... – говорил адвокат.

– Как в концлагере, – парировала Майя с излишней, о, несколько московской, пылкостью.

Речь шла об одном диктаторе одной островной страны.

«Вечер может кончиться тем, что нам укажут на дверь», – подумал я и тут же сморозил еще одну бестактность, высказавшись по поводу марксизма, что он хорош только для установления диктатур на задворках мира, а в цивилизованных странах устарел...

Мне было бы неловко высказывать эти, с московской точки зрения, общие места, если бы не изумленные взгляды гостей Джулии.

«Марксизм устарел?»

Нет, нас не выставили за дверь, однако несколько гостей довольно выразительно посмотрели на хозяйку дома (кого, дескать, привела?), и Джулии ничего не оставалось, как пожать плечами.

В дальнейшем ужин проходил и завершился вполне светски. Употреблялись хорошие вина, креветки, сыры и салаты, обсуждались новые фильмы и книги; политики, во избежание новых недоразумений, больше не касались ни свои, ни чужие.

В светской беседе, между прочим, выяснилось, что у доброй половины этих американских интеллигентов дедушки и бабушки, а то и родители прибыли на этот материк из России. «В каком-то смысле, – подумал я, – их марксистские убеждения – вещь наследственная. Дедушки и бабушки привезли с собой свою антиимперскую и антибуржуазную крамолу, и здесь она как бы законсервировалась. Как же можно усомниться в марксизме, если и папа в него верил, и дедушка?»

Глядя на этих приятных людей, внешне вроде бы таких уж «наших», а на самом деле совершенно глухих к нашим проблемам (как, возможно, и мы кажемся им глухими к их проблемам), я думал о той хитрой ловушке, в которой оказалась интеллигенция всего мира, об этой пресловутой «левой – правой «примитивке, разделившей людей по дурацким категориям, о наглом ее давлении, как бы полностью исключающем всякую возможность негоризонтального движения.

В конце семнадцатого века русский царь Алексей Михайлович начал формирование армии европейского образца. Вдруг выяснилось, что рекруты, деревенские пареньки, не знакомы с такими понятиями, как «левое» и «правое». Что делать, как направлять движение марширующих колонн? Какой-то фельдфебель придумал: на левое плечо солдатам под погон засовывали пучок сена, на правое – пучок соломы. «Сено!» – кричал фельдфебель, и рота поворачивала налево. «Солома!» – и рота исправно двигалась в правом направлении. Таким образом абстрактные в контексте Вселенной понятия получили вещественное наполнение. «Левая» и «правая» в современном мире лишены какого бы то ни было вещественного наполнения.

Однажды в Вашингтонском международном научном центре имени Вудро Вильсона мне случилось быть на докладе о польской «Солидарности». Это было за месяц до военного путча. Царил энтузиазм. Докладчик, только что вернувшийся из Варшавы, рассказывал о руководителях удивительного профсоюза, кто из них профессор, а кто сварщик, как они проводят дискуссии и просто как они живут, как одеваются и т. д.

Я тогда задал вопрос: а кем они себя считают, левыми или правыми? Вопрос этот озадачил докладчика, аудиторию да и меня самого.

В самом деле, кто они? Коммунистическая пресса называет их правой контрреволюцией. Стало быть, те, кто им противостоит, левые? Эти партийные бонзы, окруженные стражей, перевозимые в бронированных лимузинах?

Покажите на кампусе американского университета и тех, и этих и задайте загадку: кто здесь левый? Не сомневаюсь, руки студентов потянутся к тем, кто похож на них самих, – к парням в замызганных джинсах и паршивеньких свитерах, дерзко смеющимся, с традиционной рогулькой «V» над головой.

Позвольте, позвольте, но какие же это левые? Молятся, кладут кресты, причащаются на коленях перед священником... М-да-с, не вполне марксистской веры эти товарищи... чем-то от них пахнет чуждым...

В центре Вудро Вильсона разгорелся спор, в ходе которого решили, что «Солидарность» все-таки следует считать левыми или, точнее, левыми правыми, хотя, может быть, и не столь левыми, сколь правыми по сути... и левыми... тоже по сути. Тут время дискуссии истекло.

В мире в виде фона для вполне отчетливой и наглой политики царит терминологическая, семантическая, лингвистическая и эстетическая неразбериха.

В шестидесятые годы в СССР гуляла двусмысленная песенка: «Левый крайний, милый мой, ты играешь головой» – вроде бы про футболиста. Противостояли нам сталинцы во главе с Кочетовым, Грибачевым, Софроновым. Их почему-то называли правыми, как бы объединяя таким образом с республиканцами в США и с тори в Англии, как бы ставя рядом жутчайшего банщика Грибачева и вполне приличного сэра Антони Идена. Московскому левому обществу Софронов казался правее генералиссимуса Франко. Мало кому приходила в голову абсурдность этой диспозиции, никто почему-то не думал, что для Франко сталинцы – левые.

На Западе изгнанники с Востока нашли не так много друзей среди левых. Привычно из поколения в поколение и отчасти комфортабельно в условиях демократии сопротивляясь капитализму, эти люди морщились, когда мы говорили о нашем жизненном опыте в антикапиталистическом обществе.

Неужели западный левый интеллигент уже частично втянут в систему тоталитаризма? Мы не хотели в это верить, не хотелось терять привычный романтический образ свободомыслящего чудака, бросающего вызов предрассудкам и филистерству. Все-таки в комплексе левизны, казалось нам, идея личной свободы и чистой совести должна преобладать над идеологическими стереотипами...

Парижские «новые философы» оказались первыми среди тех, кто преодолевал круг заклинаний. Все они пришли с баррикад Латинского квартала 1968 года для того, чтобы назвать себя «детьми Солженицына» и заявлять, что слово «справедливость» для них дороже двухмерного измерения.

А вашингтонские молодые консерваторы?.. Строгие костюмы с хорошо подобранными галстуками, пуговицы вниз, волосики на пробор, наследственная «реакционная» мимика... правые, тут уже не ошибешься, однако то, что движет сейчас этим направлением ума, а именно отрицание тоталитарного цинизма, роднит наших *greppies* [Выпускники частных школ.] с парижскими бунтарями, да и с нами, изгнанниками.

Ситуация, может быть, слегка прояснилась бы, если бы стало ясно, что ЦК – КГБ не имеет отношения ни к левым, ни к правым. Ошибетесь, судари мои, если и к центру их отпишете. Они находятся в других измерениях. Казалось бы, это очевидно, однако ситуация не проясняется.

Ситуация настолько темна, что позавидует театр абсурда.

Почему «левые» и «правые», а не «верхние» и не «нижние», не «внутренние» и не «внешние»? Почему мы всегда должны танцевать от печки, то есть от расположения кресел в каком-то старинном зале для заседаний? Может быть, даже забытое сейчас деление на материалистов и идеалистов внесло бы больше ясности. Пока что свифтовские остроконечники и тупоконечники спорят, а население спрашивает – где же наши яйца?

С темой революции в современном мире ежегодно происходят удивительные парадоксы, трансформации, перевертывание идей, понятий, зрительных образов. Символ левого движения, вдохновенный лик Че Гевары (после пяти рюмочек дайкири на борту конфискованной яхты) оборачивается растленной физиономией Муамара Каддафи или кабаньим

рылом Иди Амина. Постоянно приходится сталкиваться с тем, что в американском языке с приятной точностью называется blockhead [Болван, дурень.]. Благородное слово «либерал» нынче изрядно испохаблено марксистскими доктринерами. Стыдась этого слова, левый интеллигент бодро прошагал в область стройных общественных теорий, от которых за версту разит если не концлагерем, то казармой. В походе этого некогда свободного человека засквозила солдатчина.

Вот, скажем, нобелевский лауреат Габриель Гарсиа Маркес, талант и левак, левее некуда. Левее, если перегнуться, можно увидеть только живот его личного друга Фиделя Кастро.

Нобелевский комитет, награждая и определяя заслуги Маркеса, заявил, что он всегда «политически на стороне бедных», а также «против внутренних репрессий и иностранной экономической эксплуатации».

Казалось бы, как тут не поаплодировать, а про увлечение террористами можно и забыть: мало ли чем может увлечься романист? Хочется забыть... но, увы, вспоминается... экран московского телевизора и на нем Г.Г. Маркес, полный провинциального высокомерия.

– Я дал зарок, – вещал он, – ничего не печатать из своих художественных произведений, пока не падет жестокий режим Пиночета в Чили.

Аплодисменты. Кому приятна военная диктатура? И все-таки, товарищ Маркес, не лишайте человечество столь большого удовольствия, как чтение ваших романов. Он улыбается. Дальнейшее показало, что зарок был не так уж тверд.

В те дни десятки тысяч вьетнамских беженцев, boat people, тонули в море, пытаясь спастись от новых коммунистических хозяев. Весь мир шумел об этом, и Маркес был спрошен московским телевизионным человеком:

– А что вы скажете, товарищ Маркес, по поводу шумихи, раздуваемой буржуазными средствами информации в связи с проблемой вьетнамских беженцев?

(Не исключаю, между прочим, лукавства со стороны советского телевизионщика: они не так просты.)

У Маркеса на лице появляются следы марксистского анализа. Он объясняет советским телезрителям:

– Это естественный процесс классовой революции. Проигравший класс должен исчезнуть, уступить свое место победителям.

Не правда ли, привлекательно звучит эта фраза в устах «политического сторонника бедных» и врага «внутренних репрессий»?

В Москве, помнится, многие тогда дали зарок ничего не читать маркесовского до падения коммунистов во Вьетнаме. В шутку, разумеется. К чести наших либералов, надо сказать, что они еще не развили в себе маркесовской «звериной серьезности».

Все-таки нужно обладать какой-то особенной вульгарностью для того, чтобы быть настолько заблокированным дешевой и устаревшей левой идеей. Увы, иногда такая вульгарность может сочетаться с художественным талантом.

Достоевский сказал, что ради слезинки ребенка можно пожертвовать счастьем человечества. Может быть, эта метафорическая «слезинка» как раз и есть то, что отведет писателя наших дней и от левой и от правой самоцензуры.

Хлеба и зрелищ

Недавно мне удалось совершить путешествие в недалекое прошлое, а именно в милое всему нашему поколению десятилетие шестидесятых годов. Увы, это были все-таки не наши, не советские шестидесятые, а здешние, американские, но тем не менее все это было очень

близко и даже лирично, напомнило мне поездку в Англию осенью 1967 года и другие поездки на Запад.

Я говорю о массовом празднике с куклами, который каждый год устраивается на холмах Северного Вермонта и называется «Bread & Puppet Show», что, собственно говоря, в переключку с римской традицией означает «Хлеба и зрелищ». Народ сюда стекается со всей Новой Англии, из Бостона, Нью-Йорка и Вашингтона, можно заметить даже машины с номерными знаками далекого Юга и Дальнего Запада. Любопытно, что в толпе слышна не только английская, но и французская речь. Сначала я подумал, откуда здесь так много французских туристов, потом догадался – это были канадцы из франкоязычной провинции Квебек.

Мы отправились на праздник большой компанией: вермонтский житель, писатель Саша Соколов, его жена Карен, их соседи Барбара и Скип, израильяне Нина и Александр Воронель и мы с женой. Прошу прощения, забыл упомянуть двухлетнего спаниеля по имени Ушик.

Собак вообще было множество, и вели себя они в толпе вполне непринужденно. Еще более непринужденно чувствовали себя здесь крошечные дети. Иные из них ползали нагишом, ибо стояла жара. Собак кормили повсюду. Расползающихся детей передавали из рук в руки поближе к родителям.

В толпе преобладали те, кого очень условно можно обозначить термином «левая интеллигенция». Все напоминало обстановку подобных сборищ в конце шестидесятых и начале семидесятых годов: джинсы, длинные волосы, значки, гитары... Устаревшие идейные хиппи, надо сказать, довольно живучи в США и благополучно соседствуют с безыдейными панками. Молодежь, стареющая молодежь и совсем уже старая молодежь... Очень быстро возникла типичная для подобных ситуаций обстановка естественных, так сказать, отношений. К нашему пикнику подошла девушка и сказала:

– У вас тут, братцы, я вижу очень много пива, а у нас не хватает. Можно я возьму несколько банок?

Периодически приближался некий странствующий рыцарь и запросто, не спрашивая, прикладывался к нашей галонной бутылки красного вина, одаривая окружающих вслед за тем смутной улыбкой, поблескивающей из зарослей его лица. Хлеб здесь всей многотысячной толпе выдают даром, эта традиция праздника, и хлеб, надо сказать, очень вкусный, деревенский, из муки крупного помола. Бесплатно выдается также поджаренная кукуруза.

Праздники эти начались как раз на стыке шестидесятых и семидесятых, когда германский кукольник Питер Шуман осел в Вермонте. За это время его труппа «Хлеба и зрелищ» приобрела даже некоторую международную известность. Они гастролируют и в Европе, и в Латинской Америке, и в Индии, но штаб-квартира их по-прежнему остается на зеленых холмах Гловера, которые образуют здесь как бы естественный амфитеатр, в то время как подступающие к долине рощи образуют как бы естественные кулисы.

Когда приближаешься к месту действия и видишь эту долину, и многоцветную толпу, собравшуюся на склонах, и хвостатые флаги, расставленные на шестах, невольно думаешь: вот так в средние века, должно быть, выглядело поле боя перед какой-нибудь битвой Алой и Белой розы.

Между тем то, что нас ждет, по отношению к войне носит совсем противоположный характер. Кукольные представления в Вермонте – это грандиозная пацифистская демонстрация. В устройстве ее принимают участие такие американские пацифистские организации, как «Корни травы», «Зеленый мир», да и сама труппа Питера Шумана известна как активная пацифистская колонна. Согласно раздававшимся там информационным листочкам, они как раз планировали серию выступлений в Европе против размещения там «першингов» и «крузов».

Вначале была чисто развлекательная, идеологически не нагруженная программа. Римский цирк – император, патриции, рабы, гладиаторы, дикие звери, пляски масок, кувыркания, песнопения, смешные декламации. Долина обладает удивительными акустическими качествами – без всяких микрофонов немудрящие тексты разносились по огромному пространству.

Затем, когда солнце стало уже склоняться к холмам, началось основное, антивоенное действие. Из леса появилась процессия в белых одеждах. Она несла огромную, этажа в три, куклу, символизирующую как бы солнце, то есть мирную жизнь. Кукла была установлена в центре амфитеатра, и вслед за тем фигурки в белых штанах и рубашках как бы улетали в соседнюю рощу. Из-за холма появился и спустился в ложбину большой духовой оркестр, тоже все в белом. В округе разлилась мирная деревенская музыка, и на проселочной дороге появилась другая процессия, несущая гигантскую супружескую кровать.

В кровати, оказалось, возлежат Дед и Баба, трехэтажные мирные пейзажи. Мало-помалу эти фигуры-символы стали подниматься из кровати и двигаться к центру долины, где белые фигурки уже устанавливали огромный стол, стул для Бабы и кресло-качалку для Деда. Засим появился чугунок, величиной с избу, в котором Баба начала варить Суп. Фигурки, танцуя, изображали картошку, лук, перец, порей, петрушку, пастернак, помидор, капусту и т. д. Все было мирно и чудно, когда началось нечто злое – вторжение абсурдных сил милитаризма. Из леса вывели стилизованное чучело сверхзвукового истребителя-перехватчика, верхом на котором сидел стилизованный человек-робот, военный бандит. Вспомнилась боевая советская песня тридцатых годов:

*Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится,
Тяжелый танк не проползет,
Там пролетит стальная птица.*

Символ войны приблизился к символу мира и вторгся в мирную жизнь. Самолет и летчик разговаривали друг с другом неразборчивыми машинными командами на непонятном языке. Задним числом это напомнило демонстрировавшиеся в Совете Безопасности пленки электронного прослушивания, на которых ночные мазурики, пилоты СУ, принимают команду сбить пассажирский самолет с двумястами шестьюдесятью девятью мирными людьми на борту.

От вторжения милитаризма Дед заскучал, а потом упал носом на стол, как будто от хорошей бутылки самогона. Баба тоже отключилась, и Суп (с большой буквы) протух. Наивно, но убедительно, ничего не скажешь. Стальная птица продолжала разговаривать сама с собой, никаких эмоций не выражая. В этом, кстати говоря, видна характерная черта современных агрессоров: захватывая какую-нибудь очередную страну, они даже как бы и не радуются, как будто знают заранее, что на пользу не пойдет.

Злодеяние завершилось как раз перед заходом солнца, но вот, едва оно закатилось за круглые холмы, в ранних сумерках появились легкокрылые посланцы доброй воли – правильно, голуби мира! Один из них, как бы походя, сунул под стальную птицу толику огня, и чудовище сгорело, крикая, ухая и все еще продолжая отдавать механическим голосом команду самому себе.

Сумерки еще сгустились, и тут начался апофеоз – ленты, шары, светящиеся мотыльки. Проплыл торжественный Ковчег, символ спасения человечества.

Толпа побрела к своим бесчисленным автомобилям, запаркованным на несколько миль в округе. Все были довольны – и воздухом подышали, и искусством насладились, и сами были как бы участниками какого-то старинного действия, и посильный вклад внесли в дело

предотвращения войны. Мы смотрели вокруг – неплохие в самом деле лица: ни жадности, ни хитрости, ни лукавства не написано на них. Сkip и Барбара встретили одного знакомого из труппы «Бред энд паппит», молодого бородатого паренька. Паренек был возбужден. «Скоро едем в Европу протестовать против размещения „першингов“ и „крузов“, – сказал он. „А против других моделей ракет вы не собираетесь протестовать?“ – спросили мы его. Он несколько смешался, но потом сказал, что протесты против восточных типов ракет – это дело восточной общественности. „Мы на Западе протестуем против западного милитаризма, а восточная общественность протестует против восточного милитаризма, – сказал он. – В Советском Союзе тоже существует большое движение сторонников мира“. Мы посмотрели на его славное лицо и подумали, что от идеализма такого рода в наши дни уже пахнет какой-то мерзостью. „Дорогой Ник, вы смело можете считать советское движение сторонников мира частью вашего западного движения сторонников мира, потому что оно никогда не протестует против восточных ракет и ядерных боеголовок, а только лишь и всегда против западных ракет и боеголовок“.

Ник был поражен. Неужели в Советском Союзе не существует независимого пацифизма? Мы тоже были несколько удивлены. Что же вы, Ник, дружище, газет не читаете? Ничего не знаете о «Группе за установление доверия», которую осмелилась организовать московская молодежь вне рамок тоталитарного и целиком подчиненного ведомству пропаганды Совета мира? Ничего не слышали, как навалилась на них каменным брюхом советская политическая полиция, как в течение короткого времени из полутора десятков основателей несколько человек оказались в психушке, несколько – в тюрьмах, иные принуждены были «раскаяться», иные – эмигрировать?

Молодой человек был обескуражен и подавлен. «Неужели никогда в Советском Союзе не было вот такого, как наше, независимого от правительства, ралли?» – спросил он.

Не нужно было особенно напрягать память, чтобы ответить на этот вопрос. Независимые от правительства ралли и митинги в Советском Союзе немыслимы, как цветы на Северном полюсе.

Вдруг кто-то из нас воскликнул: «А ведь было однажды! Вспомните, братцы, сентябрь 1974 года и парк Измайлово!» И мы все вспомнили тут немыслимое событие в жизни Москвы, день, пробудивший столько надежд и вдохновений.

Тогда, после знаменитой «Бульдозерной выставки», на которой комсомольские дружины под охраной милиции жгли картины художников-нонконформистов, а бульдозеры в лучшем стиле сталинских танкистов наступали на зрителей, власти вдруг уступили и разрешили независимую выставку на поле служебного собаководства в парке Измайлово.

Стоял блаженный день бабьего лета, и несколько тысяч человек – неофициальная артистическая Москва – собрались на зеленых холмах, слегка напоминавших вот эти вермонтские, чтобы смотреть картины, шутить и ободрять смельчаков художников.

Незабываемый день. Больше он никогда не повторился. Сейчас по крайней мере половина тех художников, устав от бесконечного тупого преследования, переселились за границу, да и из толпы, наверное, треть отправилась туда же. И все-таки нельзя забыть то удивительное состояние доверия и надежды, что царило тогда в Измайлово.

Вот это, пожалуй, и был единственный истинный акт в защиту мира в Советском Союзе, сказали мы Нику, хотя на нем не упоминались ни атомные бомбы, ни ракеты. Что же касается всех этих тщательно разработанных и обеспеченных целой армией стукачей и агентов маршей, митингов и велопробегов, то они направлены на совсем противоположные цели – перехват пропагандистской инициативы и в конечном счете – обман.

Вермонт... пейзаж... лица... что я могу этим людям доказать? Парадокс в том, что без них Америка не была бы Америкой.

Штрихи к роману «Грустный бэби»

1980

Бойфренд Бернадетты, агент страховой компании Рэндолф Голенцо, прослышав о новом жильце, задумался о России, которую – он знал это достоверно – называют еще Советской Грузией. «Это страна огромной мощи, она расположена между Китаем и Германией. Не все русские – грузины, моя дорогая. Грузином был Никита Хрущев. Грузины – это элита страны, вроде как наши „осы“ [WASPs – белые англосаксонские протестанты; wasps – осы.]. Но жалят сильнее, ха-ха-ха! В своих партийных синагогах они уже целое столетие обсуждают вопрос о грузинофикации Африки. Наивные люди возмущаются оккупацией Афганистана, но я не поручусь, что этот вопрос не был окончательно решен на совещании в Атланте, моя дорогая».

Водопроводчиком и надзирателем холодильных установок в «Пацифистских палисадах» работает беглый вьетнамский генерал Пхи, весом не более ста фунтов. Гирлянда ключей и отверток побрякивает у него на поясе, который он носит по-ковбойски, на бедрах. Бернадетта Люкс сочувствует генералу. «Маленький Пхи отступал с оружием в руках», – говорит она своему Рэнди. Тот явно ревнует: «С оружием в руках надо наступать, ханни».

Часто можно видеть генерала в вестибюле возле стилизованного глобуса. В задумчивости он вращает миниатюрным пальчиком это чучело нашей планеты. Внимание его сосредоточено на арктическом бассейне, что отчасти понятно.

Нельзя сказать, что окопавшийся в «Пацифистских палисадах» ГМР не сталкивается с жизнью «реальной Америки». Сталкивается ежедневно и ежедневно черпает определенную пищу для обобщений. Вот несколько примеров.

...Однажды утром сосед Robert Redford-look-alike [Точная копия Роберта Редфода; *здесь и далее* – имена американских знаменитостей.] сказал своей жене Victoria Prinsipal-look-alike: «Всем ты хороша, дорогая, но запах изо рта у тебя невыносим. Ну-ка, прими таблеточку „Клорет“. Видишь, действие мгновенное и надежное. Теперь твой ротик пахнет ароматом экзотических цветов, как тогда на Бермудах. Задержи шторы».

...На паркинге после делового дня сталкивается соседка Linda Evance-look-alike с соседкой Joan Collins-look-alike. «Вы что-то выглядите утомленной, душечка». – «Ах, слишком напряженный день. Сначала, разумеется, мой босс, потом двое приезжих из Огайо, за ланчем встретился партнер по теннису, а после работы я нередко заезжаю к французско-кондитеру...»

«Ах, душечка, вы устаете оттого, что не пользуетесь тампонами Freshcotton. Взгляните на меня – я совершенно свежа после семи аппойнтментов!» [Appointment – условленная встреча, свидание, визит.]

...Смеркается. Обитатель пентхауса Burt Lancaster-look-alike со своим «лонг дринком» на своем балконе. Ласково, пожалуй, даже нежно поглядывает в глубь спальни, где его жена Shirley McLain-look-alike убаюкивает дивное лицо свое благоуханным кремом Oil of Ole. «Время подчиняется этой тайне, – думает он. – Жаль только, что я сам не могу приобщиться к этой благодати».

...Пара холостячков бодро, как мальчики, встречаются поутру. «Все в порядке, Даг?» – спрашивает Burt Reynolds-look-alike. «Все в порядке, Стив! Сначала, как всегда, чесалось

по-страшному, а после того, как последовал вашему совету с этим дивным Prep-H [Мазь от геморроя.], все сошло, готов к новым подвигам!»

...Торговец автомобилями Lee Iacossa-look-alike по пятницам впадает в какое-то странное состояние.

– Все распродам по дешевке, когда я в таком странном состоянии! – кричит он.

– Ты нас разоришь, когда ты в таком странном состоянии! – кричит супруга.

– Не исключено! – ревет он. – Спешите покупать мои автомобили, когда я в таком странном состоянии!

1955

Кронштадт, морская пехота.

*Морская крепость. Слянок звоны.
Гудит стальной левиафан.
Забыты дни, когда с амвона
Взывал Кронштадтский Иоанн.
Собор вместил дворец культуры,
Программу просвещения масс,
И гарнизонные амурсы
Гнездятся в помещеньях касс.
Афиши парад под вечер мгlistый.
Любитель знаний входит в раж.
Вот лекция «Имперьялисты
Готовят атомный шантаж».
Обзор успехов Казахстана...
Животный мир полярных вод...
Певец приехал Глеб Романов,
Лауреат и патриот.
Седьмая рота Экипажа
В награду за большой успех,
Черна, как угольная сажка,
Парадом претя в зал потех.
Эх, зарубежной песни ноты!
Певец поет, как патефон,
Про то, что бэби без работы
Паучьим долларом пленен.
Седьмая рота Экипажа,
К седьмому небу воспаря,
Забыв казарменную лажу,
Сосет водяру втихаря.
Сей культпоход за доблесть плата,
За службу верную, без дум,
За усмирение штрафбата
Крутыми пулями «дум-дум».*

...

*Здесь к покаянию с амвона
Весь мир священник призывал,
Но гвардии матрос Семенов*

Про это дело не слышал.

Глава четвертая

В июне 1981-го мы снова собрались в путь, и снова через всю страну, своим ходом – из Лос-Анджелеса в столицу нации. Срок моей резиденции в Южнокалифорнийском университете истек, а тут как раз Институт Кеннана при международном центре Вудро Вильсона пригласил на годичный феллоушип [Fellowship – научная работа, в ходе выполнения которой исследователю выплачивается стипендия.].

Честно говоря, мы уже устали от скитаний. Хотелось осесть, можно было найти какой-нибудь заработок и в Калифорнии, однако мы почему-то даже и представить себе не могли, что останемся насовсем в этом блистательном городе, где «Ягуары» и «Роллс-Ройсы» столь же заурядное явление, сколь мотоциклы в Москве или сколь норковые шубы в Нью-Йорке, последние в свою очередь столь же в ходу, сколь кроликовые «под ондатру» шапки в Новосибирске, которые там так же привычны для глаз, как, скажем, велосипеды в Пекине, встречающиеся в этом городе, конечно же, не реже, чем «Ягуары» и «Роллс-Ройсы» в Лос-Анджелесе; благодарю за внимание к этой замысловатой фразе.

Помимо глубинных эмоций вроде упомянутой уже «городской ностальгии», было нечто и более поверхностное, что отвлекало нас на Восток. Станным образом в этом городе (Лос-Анджелесе), где аккумулировано немало творческого потенциала, возникло ощущение отрыва от культуры, да и вообще от современной жизни. В 1975 году, когда я попал сюда впервые и ненадолго, я был увлечен мифологией Южной Калифорнии и не успел заметить ее реальности. После нескольких месяцев быта я стал ловить себя на том, что всячески стараюсь избежать прискорбной мысли – «живем в глубинке».

Даже кинообщество не убедило нас в обратном. Случайно попав раза два-три на голливудские партии [Party – вечеринка.], мы были удивлены какой-то странной томительной деловитостью собравшегося артистического народа, которому вроде бы полагалось быть легким, раскованным, заводным. Где же весь этот голливудский карнавал? Даже эрос как будто был отчужден от этих сборищ. В глазах читался один лишь немой вопрос – бюджет.

В таких случаях, впрочем, всегда стараешься себя убедить, что ты не на ту партию попал, не на основную, что основные дела где-то идут своей дорогой. Я уже говорил о том, как трудно в Америке сшить подушку из обобщений. Не сошьешь себе подушки и из Лос-Анджелеса.

Так или иначе, собрались в дорогу и двинулись. Двинулись и пересекли: Калифорнию, Аризону, Юту, Колорадо, Канзас, Миссури, Иллинойс, Огайо, Западную Вирджинию и Мэриленд. Пересекли и прибыли – в не отмеченный звездочкой на флаге дистрикт Колумбия. Въезжая сюда, мы еще не предполагали, что наша американская цыганщина завершается, что именно здесь мы поселимся с претензией на оседлость.

Майя родилась в Москве, а я двадцать пять лет жил в столице, прежде чем меня из нее выгнали. В Лос-Анджелесе нам говорили: только не думайте, что Вашингтон – настоящая мировая столица. В некотором смысле это просто небольшой южный город. Сочувствуем от всей души, целый год провести в такой глухомани.

Не без содрогания мы представляли себе место, которое выглядит глухоманью по сравнению даже с вымершими улицами Лос-Анджелеса, на которых слышится лишь шорох тысяч шин да из окон доносится бульканье джакузи [Устройство для водного массажа.].

Как ни странно, мне понравился Вашингтон с первого же дня. Какой-то комплексочек из эмигрантского букета комплексов был удовлетворен. Уж не столичный ли призыв? Уж не причастность ли к империи?

Иные московские друзья плавают, как трепанги и каракатицы, в болотной воде нью-йоркского Сохо. Что касается меня, то я всегда подозревал в себе нехватку богемности. В

официальных кварталах Вашингтона я вдруг обнаружил странную гармонию, которой мне как раз не хватало.

«Может быть, тебя тоска грызет по родной империи?» – спросил нью-йоркский приятель. В перспективе сбалансированных современных контуров мне нравилось увидеть готику святого Доминика. «Родную империю» это как-то мало напоминало. «Родная империя» скорее предпочла бы развалиться, чем поставить между своими министерствами и святынями абстрактные скульптуры, иные даже загадочнодвигающиеся с застенчивым призывом к философскому восприятию жизни, то есть к отказу от безобразных имперских претензий.

Любопытно развивалась в Вашингтоне наша городская ностальгия. В поисках жилья мы поначалу отвергли престижный Джорджтаун. Викторианские домики нам тогда еще ничего не говорили. Мы поселились на Юго-Западе. Что ж, это разумно, говорили нам наши здешние друзья, разумно с точки зрения близости к Вильсоновскому центру. В самом деле, разумно, когда ищут жилье поблизости от Вильсоновского центра, хуже, когда Вильсоновский центр находят по принципу близости к дому. Задним числом, однако, мы поняли, что нашли этот район по принципу его безликости, то есть по принципу его похожести на иные жилые районы Москвы. Мы даже стали называть этот район на советский лад Звездным городком, так он напоминал офицерское поселение под Москвой, где обитают космонавты: многоквартирные дома, чистые пустые улицы, клумбы, эдакая функциональная жилая зона.

Круг вашингтонских знакомых тоже напоминал нам московскую жизнь: дипломаты, журналисты, специалисты по славистике и по изучению Советского Союза, то есть как раз те, кого мы у себя дома привыкли называть американцами или иностранцами. Русские эмигранты, между прочим, во всех странах рассеяния полагают коренное население иностранцами. С комплексом великой нации самих себя вообразить чужеродным элементом – выше всяких сил.

В Вашингтоне, пожалуй, больше, чем где бы то ни было, американцев, говорящих по-русски, людей, тем или иным образом связанных с «русской темой». В обществе принято даже щеголять русскими словечками (как в Москве английскими), вставлять в разговор разные *mezhdubrochim* или *chudesno*. Обозреватель Стив Розенфельд в статью о текущей политике, напечатанную в «Вашингтон пост», вставил красивое слово «задница», набранное кириллицей. Без преувеличения можно сказать, что это был праздничный день для всех русских читателей этого влиятельного органа.

На вашингтонских парти иной раз происходили удивительные встречи. Высокий дипломат вдруг обращается словно старый московский приятель:

– Привет, Вася! Помнишь 1966 год?

– Помню, помню, это как раз тот самый, что наступил после 1965-го и закончился 1967-м.

– Неужели ты не помнишь, как в 1966-м, весной, мы пошли большой компанией на пасхальную службу в Новодевичий монастырь, а за нами все тащился бородатый субъект, и мы называли его ка-гэ-битник?..

Памятный год занимает свое место, и выплывает имя старого приятеля: «Билл, сколько лет, сколько зим!» Бесконечные парти наших первых месяцев в столице почти слились в одну сплошную «многопартийную систему». По гостеприимству вашингтонцы бьют даже калифорнийцев и приближаются к Грузии со столицей в Тифлисе (не путать с Атлантой). Грузинские же хлебосолы еще в отдаленные времена покорили меня заздравным тостом:

– Выпьем за нашего знаменитого писателя Напомни-Мне-Свою-Фамилию-Дорогой!

Вашингтонцы пока что постоянно напоминают друг другу, что они живут в столице нации, однако город развивается столь энергично, что вскоре, вероятно, не будет нужды в этих напоминаниях. Пока что близость Нью-Йорка придает теме столичности некоторую

особую чувствительность. Однажды на большой партии общество было озадачено, когда один из гостей сказал, что, на его вкус, Нью-Йорк провинциален в сравнении с Вашингтоном. Ну, это уж слишком, сэр, попытались было урезонить дерзкого вашингтонца. Нью-Йорк все-таки мировой перекресток, там вся наша литература, весь театр, там рождаются моды, там все кипит... Дерзкий вашингтонец только лишь улыбался: скоро все поймут, что я имею в виду...

Соперничество двух столиц – знакомая русскому тема. Москва и Петербург долгое время были непримиримы. В 1905 году московские миллионеры даже подняли восстание (известное теперь как первая русская революция) против петербургских аристократов. Восстание было подавлено гвардейскими полками, но соперничество не прекратилось. Большевики предпочли Москву, поскольку она подальше от границы. Помпезность великого византийского города соединилась с крикливой безвкусицей коммунистического самовосхваления. Нынче, впрочем, многие ученые считают, что обратный перенос русской столицы из Москвы в Петербург неизбежен.

В Америке, к счастью, до таких метаний дело не доходит. Спор идет, как я понимаю, лишь о переносе столичного настроения.

В Вашингтоне на самом деле есть места, где, напоминая не напоминая, все равно не поверишь, что находишься в столице Америки, а стало быть, и всего «свободного мира», а стало быть, и всего современного человечества. Полуразвалившиеся низкие домишки, свисающие над ущербной мостовой вялые ветви пыльных деревьев... пыльный ржавый блюз Богом забытого Юга... Все это, однако, отодвигается все дальше и дальше от сердца города, уступает место новой столичной архитектуре, столичному ритму, меняющему даже походку горожан.

Изменения происходили на наших глазах. В даунтауне вырастали дома с зеркальными стенами. Вдруг исчезали целые районы трущоб. Прибрежный район Джорджтауна день за днем превращался в стильный, полный какого-то особого, может быть, даже приключенческого духа плей-граунд наподобие Гринвич-Виллидж (только лучше) или Латинского квартала (пока еще хуже). Вокруг Дюпон-серкла плодились кафе парижского стиля со столиками на тротуарах.

На глазах менялся и образ жизни города. Объехав много американских городов, могу сказать, что в Вашингтоне нынче самая оживленная уличная дневная и вечерняя жизнь. Как-то мы оказались после десяти вечера в даунтауне на перекрестке М-19 вместе с поэтом Биллом Смитом. Билл несколько лет назад жил в Вашингтоне, будучи штатным поэтом при Библиотеке Конгресса. Теперь он стоял на перекрестке и разводил руками. Не могу узнать этот город. В прежние времена по ночам тут только кошки бегали, да изредка темные тени появлялись и прятались, боясь друг дружку. А сейчас, позвольте, да это же просто Сент-Жермен-де-Пре...

И впрямь, по проезжей части двух улиц медленно двигался поток машин, по тротуарам – поток людей. Все столики в открытых кафе были заняты, а в singles-bar «Rumours» [Бар для неженатых и незамужних «Слухи».] стояла большая очередь молодежи. Это местечко, где еще недавно мухи дохли на лету от скуки, стало настолько популярным, что открыло филиал несколькими кварталами ниже. Между главными «Слухами» и дополнительными, минуя десятки других ресторанчиков, курсирует «шаттл».

В принципе, достаточно построить в городе хоть одно здание с такими острыми углами, как у восточного крыла Национальной галереи, чтобы в нем стала расцветать космополитическая столичность.

Не хватает еще своих Елисейских Полей, но и они на подходе; завершается реконструкция Пенсильвания-авеню – плиточные тротуары, фонтаны, стекло, реставрированная старина вроде Старой городской почты или отеля «Виллард».

Для парадов достаточно будет места, но вот удастся ли вдохнуть в эту улицу, столь великолепно завершающуюся Капитолием, «елисейскую» жизнь – это пока что под вопросом.

Пока что можно сказать, что от прежнего провинциализма в Вашингтоне в основном остался только его отвратительный климат, провинциально липкая влажность воздуха. Увы, для столицы в свое время была отведена самая влажная, глухая и заросшая часть нового континента. Может быть, и в климате теперь прибавится космополитического ветерка.

Разумеется, все в Вашингтоне пахнет политикой, даже чужак очень быстро улавливает ее запах. Среди джоггеров, трусящих вдоль Мола, нет-нет да замечаешь лица ТВ-звезд, политических комментаторов и конгрессменов. Деятелей такого масштаба в Москве без штанов не увидите: они предпочитают перемещаться в лимузинах с задернутыми кремовыми шторами окнами. Любопытно наблюдать, как в толпе перед концертом в Центре Кеннеди происходят политические перемещения. Второй помощник, скажем, третьего подсекретаря элегантно дрейфует по направлению к старшему заместителю младшего менеджера. В китайском ресторане за соседним столиком вы рискуете услышать разговор об экономических санкциях против режима Ярузельского. На парти в джорджтаунском доме разговор может легко соскользнуть на сравнительную стоимость американского танка (в рублях) и советского (в долларах). В этом последнем случае к вам обязательно обратятся как к эксперту, и вам ничего не останется, как посоветовать интересующимся джентльменам либо взять на вооружение курс черного рынка, где за один доллар идет четыре рубля, либо переписать сравнительную стоимость танков по стоимости джинсов.

Таков этот город. Вот дом, где обсуждают полеты Space Shuttle, вот дом, где печатают доллары, вот дом, где все эти доллары считают, вот отель, ночной сторож которого может записать на свой счет захват трех стран и избиение коммунистами одной трети населения Камбоджи, вот стена крупной каменной кладки, прижавшись к которой подозрительный Ромео новой формации ждал президента...

My God, катя по фривею, ты видишь дорожные знаки «Пентагон» или «ЦРУ». В Советском Союзе этими словами пугают детей, а здесь это всего лишь выходы с фривея.

Сосед

Жизнь в Америке развивает в человеке особого рода дух соседства, связанный, очевидно, с пилигримской традицией, с форпостами европейцев на незнакомом континенте. Вот и я научился симпатизировать тем, кто живет поблизости. Есть тут у меня сосед, можно сказать, притча во языцех по всему миру. Повсюду его вспоминают, и не всегда добрым словом: несдержан, мол, на язык, жестковат, ничего, мол, удивительного – ковбойское прошлое. Мистеры Г. и Ч. в отдаленных краях, те так просто ярятся при его имени. А вот для меня он прежде всего сосед, а это важнее всего остального.

Вот иной раз под вечер некая Морин Баньян, особа, известная в околоте тем, что ежедневно в 6 часов рассказывает «что, где, как, зачем», но никогда не говорит «почему», то есть не обобщает, сообщает про нашего соседа, что он только что вернулся из очередного путешествия. Сосед выходит из самолета и первым делом смотрит, откуда на него направлена кинокамера: профессиональная привычка – вторая натура. Мы с женой, конечно, как и все остальные обыватели, пытаемся сделать выводы – еще больше постарел или еще глубже помолодел? Сосед никогда не забудет бросить на ходу по дорожке от самолета до вертолета пару оптимистических фраз; вот этим он мне определенно нравится.

Мы едем в кино по улице Конституции, а он как раз перелетает эту магистраль по направлению к своему дому. Живот его вертолета скользит над нами, а если вовремя загорится красный свет, можно увидеть, как летательная машина садится на зеленую траву возле

белых колонн. Сосед выходит, салют всему миру – и домой, на боковую! Работа у него нелегкая, но лаун [Lawn – газон, лужайка.] перед домом, надо признать, всегда в хорошем состоянии.

Вопрос такого соседства, как ни странно, весьма интересует моего московского друга, внутреннего эмигранта Фила Фофаноффа, с которым мы переписываемся из Москвы в Вашингтон и обратно посредством почтовых голубей.

Знаешь, пишет мне Фил, мой сосед очень зол на твоего соседа. Понимаешь ли, он разозлился сразу же после того, как твой сосед перешел в нынешний дом, что нынче по соседству с тобой, и заявил во всеуслышание, что мой сосед всегда все врет, что ему нельзя верить на слово, что он резервирует за собой право на любое хамство. Такого раньше про моего соседа никто не говорил (странно, неужели не замечали?), и потому он ужасно обиделся, как будто был оскорблен в лучших чувствах, и теперь всему миру несет, что твой сосед – грубый, нехороший человек, реакционер.

Мы здесь, в Москве (надеюсь, не забыл), привыкли к тому, что нас уже давно и стойко тошнит от нашего соседа. Как еще относиться к тому, кто вечно вваливается в твою личную жизнь и командует, какую картину на стену повесить, какую книгу читать, а какую нельзя, каких гостей принимать, а каким от ворот поворот. А вот скажи, Василий, как обстоит дело в Америке, где, как ты говоришь, столь развит дух соседства?

Мне мой сосед, отвечаю я другу, вообрази, Фил, совсем не мешает.

Ну хорошо, пишет Фофанофф, внутренний советский эмигрант, а не мешает ли тебе этот дух соседства смотреть на твоего соседа критически? Замечаешь ли ты, например, что он довольно жилист, довольно стар?

Эх, признаюсь, отвык я уже от московской диссидентщины. Что ж, отвечаю, Фил, готов признать, что мой сосед не молод и довольно морщинист, и пуля у него побывала в боку, однако на лошади, смею уверить, скачет он довольно лихо.

Проходит первый вашингтонский год, и мы все больше убеждаемся, что этот город в нашем вкусе. Мы оставляем наше временное пристанище на Юго-Западе и переезжаем в более постоянное, в двухэтажный пентхаус, на холм Адамс-Морган с видом на крыши столицы. Вся американская демократия перед нами – Капитолий, монумент Вашингтона, памятник Линкольну. Лучшего места не найти для созерцания фейерверков 4 июля.

Что ж, говорим мы себе, ничего особенного не произошло: как жили в столице, так и живем в столице, в самом деле ничего особенного, просто-напросто – Capital Shift [Смена столиц.].

Flag tower (флаг-башня)

Смитсониевский замок в центре Мола не показался мне незнакомым. Он, очевидно, относится к тому типу зданий, что застревают в памяти при разглядывании почтовых открыток и туристических буклетов, хоть и не обращаешь на них особого внимания. Я только лишний раз подумал о поворотах судьбы: если бы мне сказали еще пару лет назад, что я буду здесь работать, да еще и сидеть в главной башне этого странного сооружения, идея показалась бы мне не менее вздорной, чем предложение написать роман в Спасской башне Кремля.

В Вильсоновском центре работают ученые и писатели со всего мира, каждому здесь дают кабинет, пишущую машинку, помощницу для исследований и достаточное количество долларов для умеренного пропитания во время работы. Народ трудится, спектр тем широк: ну, например, «Зависимость колебания цен на табак в Австралии от устойчивости цен на рис в Бразилии» или «Сравнение общественного поведения и моды молодежи в России шестидесятых годов прошлого века с шестидесятыми годами этого века в Америке». Иной раз попадают в научную среду и романисты, привносящие в исследовательский процесс еще

большую иррациональность. Я, например, подал заявку на проект под названием «Бумажный пейзаж», роман о том, как под влиянием бумажных делопроизводств у жителя советской империи Велосипеда, помимо его физического тела, его астральной сути и его души, возникло еще четвертое, бумажное тело, которое и расположилось в кулуарах бумажного пейзажа. Явившийся с таким проектом в научное учреждение, в принципе, не должен ни удивляться, ни обижаться, если ему укажут на дверь. Вместо этого меня отправили в башню: терпимости американского академического мира нет границ.

В этом узком сооружении с часами и флагом один над другим располагались три офиса. Мой был в середине, подо мной сидел француз, надо мной – китаец. Я не знал, о чем они пишут, но предполагал, что что-нибудь близкое «Бумажному пейзажу», что-нибудь о построении социализма во Франции и капитализма в Китайской Народной Республике.

Передвижение вверх и вниз осуществлялось при помощи древнего лифта с раздвижными дверцами. Сидящая у подножья башни Лиз Диксон уверяла, что это самая надежная машина в своем роде, однако каждый раз, поднимаясь на лифте в свой офис, я думал о ядерной войне. На всякий пожарный случай в полу каждого офиса и, соответственно, в потолке каждого нижеследующего был проделан люк, то есть в случае ядерной войны китаец должен был свалиться мне на голову, а потом мы с ним вместе на голову француз.

Шутки в сторону, год, проведенный в Институте Кеннана при Вильсоновском научном центре, оказался приятным, плодотворным и интересным. Замечательно находиться там, где ты никому не жмешь на мозоль, где и тебя никто не теснит, приятно быть целый год в обществе милых, интеллигентных людей, в меру любопытных, но никогда не нахальных, привыкших к космополитической пестроте вокруг и к звучанию имен, диковатых англоухому персоналу.

С директором Центра историком Джимом Биллингтоном мы были, как ни странно, знакомы уже шестнадцать лет. В 1965 году в тридцатиградусный мороз в Москве появился высокий краснощекий профессор в тонком черном пальто, оксфордском шарфе и светлой кепке, которую он называл «всесезонной» и которая, кажется, и в самом деле подходила для всех сезонов, кроме текущего.

Морозный пар сопровождал наши прогулки по Москве. Я отдал Джиму одну из своих бесчисленных меховых шапок, он подарил мне свою кепку. Уезжая, он показал мне большой чемодан и сказал, что там лежит рукопись его капитального труда по истории русской культуры «Икона и топор». Чтобы не быть голословным, он открыл чемодан и вытащил ворох страниц. Порыв морозного ветра вырвал ворох из его рук и закружил в воздухе над памятником основателю научного коммунизма Карлу Марксу. Мы прыгали с Джимом, пытались спасти труд, вырвать его из пасти безжалостной русской зимы. Марджори Биллингтон и трое маленьких детей с интересом следили за этой, пожалуй, символической сценой.

Любопытна судьба головного убора, который я в духе того десятилетия называл «Всепогодной Кепкой имени Джеймса Биллингтона». В самом начале Пражской весны, когда только-только еще началась капель с крыш, я подарил ее пианисту в пражском баре «Ялта» – очень уж хорошо играл. Пианист подарил ее скандинавскому саксофонисту, тот кому-то еще, кепка побывала в нескольких странах, прежде чем вернулась ко мне в Москву с запиской от японского борца дзюдо. Потом ее сорвало у меня с головы ураганным ветром на острове Сааремаа в Балтийском море.

Ни Джим, ни Марджори за истекшие шестнадцать лет не постарели, а вот трое их ребятишек подверглись сильному воздействию времени, превратившись в высоких и умных студентов.

Институт Кеннана при Вильсоновском центре занимается «продвинутым» изучением России и Восточной Европы. Три комнаты и библиотека с овальным столом; в наличии все эмигрантские и советские издания. Чтение «Правды», как сказал парижский писатель Виктор Некрасов, – это хорошее лекарство от ностальгии. Еще лучшее средство от этой напасти – визиты советских научных гостей и дипломатов с их скованными осторожными повадками. Один из них, мой в прошлом неплохой приятель, сидел на семинаре в двух метрах от меня, однако не замечал меня до такой степени, что я даже стал ощущать некоторую бесплотность.

Директор Института Кеннана в тот год, профессор Глисон, что ни неделя, собирался в дорогу «поднимать фонды», иными словами, кланчить деньги. Это довольно привычное для любого американского начинания дело оказалось для меня сущим сюрпризом. В СССР выпрашивание денег представляется, разумеется, делом зазорным. Впрочем, там и кланчить-то не у кого, только лишь у государства. Разветвленная система частных фондов, грантов [Grant – дотация, субсидия.], пожертвований – явление совершенно необычное для пришельца из СССР, и я, честно говоря, не без изумления наблюдал, как иные из бывших соотечественников быстро к этому явлению приспосабливались.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.